



Михаил Николаевич Щукин
Покров заступницы
Серия «Сибиряда»

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=14654416
Покров заступницы: Вече; Москва; 2015
ISBN 978-5-4444-2324-0, 978-5-4444-2376-9, 978-5-4444-8302-2

Аннотация

Тяжелой поступью шагает по необъятным просторам Российской империи XX век, задувают от него злые ветры грядущих революционных бед и перемен в судьбах людских. Донеслись они и до небольшого городка Никольска, что притулился возле Великого Сибирского стального пути. Именно здесь круто поменялась жизнь молодого парня из затерянной в таежной глухомани деревеньки Покровка. Именно здесь отыскал свою возлюбленную бывший вольноопределяющийся, командир охотников и ветеран японской войны. Эти люди верили в свою звезду, в свою любовь, и Заступница всех любящих не оставила их!

Содержание

Покров заступницы	5
Глава первая	5
1	5
2	6
3	8
4	12
5	14
6	16
7	17
8	18
9	19
10	21
11	25
12	28
Глава вторая	31
1	31
2	33
3	36
4	38
5	40
6	42
7	44
Глава третья	48
1	48
2	50
3	53
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Михаил Щукин

Покров заступницы

© Щукин М.Н., 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

Покров заступницы

Глава первая

1

Стоял он у порога, привалившись плечом к косяку, и красовался. Новенький полушубок – нараспашку, а под ним – алая, как молодая кровь, рубаха, перехваченная тонким наборным пояском зеленого цвета. Конец этого пояса держал в правой руке, игрался с ним, покручивая то в одну, то в другую сторону, и большие, карие глаза смотрели прямо и безбоязненно. Из-под шапки, лихо сдвинутой на затылок, вывалился на волю завитый в колечки чернявый чуб, а на губах, ярких и пухлых, как у девки, лениво шевелилась наглая усмешка, которая больше всего и взбеленила парней.

Да и как им было не взбелениться...

Пришли на вечерку, чин чинарем, частушки под гармошку пели, девок на колени к себе усаживали, угощая их семечками и пряниками, кто половчее и кто подальше от керосиновой лампы сидел, тот и руки успевал совать своим зазнобам в разные места, куда не следует, и царило в просторной избе безудержное веселье – широкие крашенные половицы только побряхтывали, когда топтали их в пляске проворные молодые ноги.

И вдруг – полюбуйте на меня!

В самый разгар вечерки настужь распахивается дверь и появляется на пороге красавчик, симпатичное личико у которого давно уже по крепкому кулаку скучает. Давно... Предупреждали парни Гриню Черепанова, по-хорошему говорили ему: не шастай к нам, на Пашенный выселок, в своей деревне веселись, в Покровке, там и подружку себе высматривай – нет, не слушается. Прищурит упрямые глаза, скривит губы, будто незрелой калины откушал, и опять на вечерку заявится. А в этот раз, в сегодняшний вечер, и вовсе края потерял, окончательно на чужие угоды перелез. Прихлопнул за собой дверь, постоял молчком, дождался, когда гармонист притомится, а пляска закончится, и в наступившей тишине властно, похозяйски потребовал:

– Дарья, выйди, слово тебе сказать хочу...

Будто законную и послушную жену позвал, заведомо зная, что она не сможет ослушаться.

Дарья Устрялова возле гармониста стояла, платочком ему потное лицо обмахивала. Медленно обернулась к порогу, глянула на Грину и, не торопясь с ответом, слегка передернула плечами. Крупные желтые бусы шевельнулись на крутой груди и стрельнули яркими отблесками. Дарья прижала их ладонью, склонилась в низком поклоне, уронив до самого пола богатую каштановую косу, и, рывком выпрямившись, ответила:

– Благодарствуем вам за почтение, добрый человек! Да только я не собачка, которой свистнули, она и побежала. У меня от общества секретов нет, говори при всех, если нужда имеется.

– Наедине сказать хочу. Выйди! Ну!

– Не запряг, а понужаешь!

– Ты не ершись, Дарья... Поразмысли, я подожду...

И Гриня прислонился плечом к косяку, заиграл концом наборного пояса, показывая всем своим видом, что от задумки своей не отступится, ждать будет столько, сколько понадобится. Дарья, ни слова больше не обронив, повернулась к нему спиной и снова принялась

заботливо обмахивать цветастым платочком гармониста, который глядел на нее, изумленно вытаращив глаза, – нашла время платочком своим трясти! Сейчас тут такое случится – все вспотеют! И никаких платочков не хватит, чтобы красные сопلي вытирать.

Нехорошая, на короткое время, снова установилась тишина. И обломила, как хрупкий ледок под каблуком:

- Нарвался ты, парниша!
- У нас терпелка не железная!
- Так разукрасим, дорогу забудешь!
- Вышибай его на крыльцо, нечего рассусоливать!

Крики все громче, злее, а Гриня, будто оглох и ничего не слышит, подпирает по-прежнему косяк плечом, ухмыляется и только глаза чуть прищурил. Кинулись к нему сразу двое парней, которые ближе других оказались, ухватить хотели за отвороты расстегнутого полубубка, но не успели – в один неуловимый миг преобразился Гриня: пригнулся, набычив голову, словно меньше ростом стал, и крепко сжатые кулаки вымахнулись навстречу парням, да так ловко и сильно, что парни, обгоняя друг друга, полетели через всю избу, рухнули на пол, и звонкий девчачий визг, режущий уши, ударил в стены. Лампа мигнула, выбросив черный плевочек, и погасла.

В темноте, шарахаясь на ощупь, пашенские парни ломанулись к дверям, но двери оказались закрыты. Бились в них плечами, ногами стучали – без всякой пользы. Кто-то догадался и чиркнул спичку, зажег лампу. Ровный яркий свет наполнил избу, и все увидели, что Грини здесь нет – как корова языком слизнула.

Парни продолжали долбиться в двери, сопели, ругались, девки визжали, а Дарья Устрялова, спокойная, словно вокруг ничего не происходило, старательно обмахивала гармониста платочком и загадочно улыбалась.

2

Крепкий сосновый кол, которым были подперты двери, Гриня припас заранее. Теперь, недолго постояв на крыльце и послушав шум и ругань, он весело свистнул, похвалив себя за догадливость, и легко прыгнул через пять ступенек на землю, которую заботливо и надолго укрывал тихий, ровный снег, начавший падать еще с утра. В этот час, ближе к полуночи, он поредел, крупные хлопья кружились уже не так густо, и небо прояснилось, обозначив темные, рваные тучи, из-за которых выныривала время от времени, как поплавок, половинка блеклой луны.

Вот и ладно. Какой-никакой, а свет есть, чтобы не сбиться с дороги и не блукать в сплошной темноте. Гриня еще раз свистнул, громко и длинно, от полного своего удовольствия, и скорым, летящим шагом выскользнул за околицу Пашенного выселка, направляясь к Покровке, до которой было ровно пять верст.

Шел, поскрипывая новыми сапогами, и захлестывала его отчаянная лихость, а силы в молодом теле играли такие безудержные, что в одиночку мог сразиться со всей ватагой пашенских парней, которые надумали его стращать, чтобы не появлялся он в выселке на вечерках. Не на того наскочили... Правда, и ему не удалось выманить Дарью на улицу, поговорить с ней наедине, но эта беда поправимая: на следующей неделе, в воскресенье, вместе с отцом и матерью красавица сама пожелует в Покровку к родной тетке на именины, а уж он, Гриня, своего не упустит, придумает, как улучшить момент и сказать нужные слова.

Вольно, весело шагалось ему по свежему и неглубокому снегу, сладкая истома обволакивала, когда вспоминал и видел, как наяву, Дарью – лицо ее с ямочками на щеках, богатую каштановую косу и высокую грудь, которая буйно оттопыривала голубенькую коф-

точку с беленькими цветочками. Погоди, дай срок, дотянется он, расстегнет яркие, костяные пуговики и распахнет эту самую кофточку...

Немало уже отмахал Гриня от выселка, когда запоздало подумал о том, что пашенские парни, выбравшись из избы, со злости могут и в погоню удариться. И хотя страха перед ними не было, он все-таки благоразумно свернул с дороги, круто взял вправо, пересекая небольшое поле, и скоро вышел к пологому берегу Оби, по которому тянулась широкая, натоптанная тропинка – она легко угадывалась даже под снегом. От реки, еще не покрытой льдом, ощутимо тянуло влагой и холодом. Гриня плотнее натянул шапку и прибавил ходу.

Ни разу не остановился, не передохнул, единым махом одолел пять верст и вот уже различил редкий собачий лай, обозначивший деревню. А скоро замаячили мутно и крайние дома Покровки – рукой подать. Перед домами, по обе стороны от дороги, лежала большая поляна, украшенная по краям старыми, толстенными ветлами. И едва Гриня поравнялся с этими ветлами, как мелькнули навстречу ему стремительные тени, тяжелая палка, фыркнув в полете, ахнула по ногам, высекая нестерпимую боль, и он, не устояв, сунулся лицом прямо в снег. Подняться уже не смог. Навалились гурьбой и принялись молотить без всякой жалости. Молча били, деловито, только тяжело хэкали, будто дрова кололи. Попытался Гриня вскочить на ушибленные ноги, да куда там – прижулькнули к земле и еще яростней, стервенея от злости, расхлестывали большое, но беспомощное теперь тело. Только и смог, что лицо закрыл ладонями, ощутив, как они становятся теплыми от крови, которая брызнула из разбитого носа.

– Хватит, не до смерти, – раздался хриплый голос, и удары прекратились.

Гриня, будто растоптанный, лежал пластом, не поднимая головы, и слышал, одолевая тяжелый гул в ушах, как всхрапнули кони, и drobный стук копыт откатился от поляны, а вскоре затих. Полежал еще, подождал и лишь после этого отнял от лица ладони, огляделся – никого, пусто. Будто приснилось. Со стоном встал на карачки и таким манером, на карачках, передвигая колени и переставляя подламывающиеся руки, выбрался на дорогу и снова лег, перевернувшись на спину. Наскреб снега, запечатал им кровавый нос и торопливо стал хватать воздух широко раскрытым ртом, приходя в себя и понимая, что перехитрили его пашенские парни. Не стали разыскивать, куда он побежит, в какую сторону, а прыгнули на коней и махнули сразу до Покровки, где и сели в засаду, укрывшись за ветлами. Дорога здесь одна, мимо не проскочишь. Вот и получилось, что Гриня сам к ним в руки явился – берите меня, тепленького.

Его и взяли. В такой оборот взяли, что не знает теперь, как до дома добраться...

Разгоряченное, избитое тело остывало, холодом пронизывало спину от снега, на котором лежал. Подниматься надо, не будешь ведь до утра валяться. Гриня поднатужился, перевернулся на бок и встал на колени. Да так и замер, упираясь руками в землю и вздернув голову, – прямо на него скакал белый конь. Белый от копыт до взвихренной гривы, только во лбу маячило маленькое темное пятнышко, похожее на звездочку. Поднял глаза выше и обомлел – на коне сидела девушка, одетая во все белое. Трепетал у нее за спиной белый шарф, взвихривалось длинное белое платье, и казалось, что струится от коня и от девушки яркий, режущий темноту свет. Гриня даже глаза закрыл – испугался. Когда их снова открыл, увидел – конь, остановив свой беззвучный бег, стоит рядом, а девушка, наклонившись с седла, тянет к нему, Грине, длинную, тонкую ладонь. Вот дотянулась, взъерошила его чуб и залиvisto, в полный голос, рассмеялась – будто серебряный звон рассыпала. «Чур меня, чур!» – запоздало вспомнил Гриня и даже правую руку оторвал от земли, чтобы перекреститься, но не успел – конь с места взял крупной рысью и пошел отмахивать в сторону от деревни. В полной тишине скакал, даже малого звука не слышалось. Девушка, выпрямившись в седле, оборачивалась, взмахивала рукой, словно звала последовать за собой, и все рассыпала звонкий смех – будто невидимый след оставляла на снегу.

Оборвался ее голос внезапно, как только конь достиг высокой стены густого бора. Вошел белым пятном вместе со своей всадницей в темный ряд сплошных сосен и – сгинул.

Перекрестился Гриня, помотал тяжелой ноющей головой, чтобы в глазах прояснилось, и даже чуб потрогал, проверяя самого себя – умом не тронулся? И тут различил тусклое позвякивание недалекого колокольчика. Сначала подумал, что поблазнилось, – нет, наяву позвякивает, хоть и реденько, негромко, как обычно бывает при неторопкой езде, когда уставшая лошадка идет шагом. Прислушался и уловил: еще колокольцы голоса подают, видно, не одна лошадка тянется в сторону деревни.

Так и оказалось. Шел по дороге, направляясь в Покровку, небольшой обоз из шести подвод, на передней из которых сидел родной дядька Грини, развеселый и острый на язык Василий Матвеевич Черепанов. Он сразу распознал своего растерзанного племянника, затащил на телегу, даже шапку разыскал, отряхнул ее от снега и заботливо натянул на неразумную молодую голову, приговаривая:

– Это еще ладно, что они тебе башку не оторвали, будет на чем шапку таскать. Крепко отлупили-то?

Гриня отмолчался.

– А я смотрю, стороной пролетели, верхами, как черти, кто, думаю, такие... А это пашенские. Дали взбучки моему племянничку и домой подались. Из-за Дашки бока-то намяли?

Гриня снова отмолчался.

– Ох, на грех девка вызрела. Уж такое у нее обличье скромное, что глядишь и губы облизываешь. Ладно, ты не горюй. Синяки заживут, и Дашка, глядишь, никуда не денется... Одна закавыка – как перед дедом оправдываться станешь?

– Дядь Вась, а ты коня белого не видел? Не попадался по дороге? Девка на нем скакала в белом платье...

– Это они в дурной голове у тебя, Гриня, скажут. Случается такое от ушиба. Ты моргай почаще, оно и пройдет. Деду-то чего скажешь?

Гриня вздохнул и потрогал пальцами разбитый нос, разбухший, как хлебный мякиш в воде. Такой нос не укроешь и не спрячешь, поэтому и ответ придется держать по всей строгости, а деда своего, Матвея Петровича Черепанова, внук крепко побаивался. Поэтому и затосковал заранее, предчувствуя, что сурового внушения, а может случиться, что и бича, избежать не удастся.

– Ладно, ты не отчаивайся, – успокаивал его Василий Матвеевич, – с нами из Никольска учительница едет, и письмо у нее к тятэ, чтобы, значит, помогал школу ставить. Я ее первой в избу заведу, пока туда-сюда, может, и прошмыгнешь...

– Ага, – безнадежно отозвался Гриня, – мимо него прошмыгнешь, дед все видит, хоть и старый.

– Ты раньше смерти не умирай, племянничек. Вот приедем сейчас, и все ясным станет. Но-о-о, болезнь! Шевели копытами, немного осталось!

И он шлепнул вожжами уставшую лошадку, которая послушно перешла на мелкую рысь.

3

День этот не заладился у Матвея Петровича Черепанова еще с утра, когда случилось с ним досадное огорчение: полез он на печку, чтобы достать валенки, и оборвался. Поставил ногу на приступку, а выпрямить ее не смог, задрожала она, как у немощного, колено щелкнуло, будто сухой сучок, и, не удержавшись за край печки, он загремел на пол, больно ударившись о скамейку. Поднялся и долго, удивленно смотрел на печку, которую сам когда-

то сложил и на которой любил греться в последние годы. Никак не мог понять – по какой такой причине оборвался?

Сел на лавку, сложил руки на коленях, еще раз полюбовался на печку и ответил самому себе: нет никаких особых причин, кроме одной – старость одолевает. Да и то сказать, восьмой десяток давно разменял, на девятый пошел, вот ноги-то и поизносились, подрагивать стали, в коленках щелкать.

Во второй раз забираться на печку Матвей Петрович не рискнул, побоялся, что получится еще одно огорчение. Взял ухват, дотянулся им и скинул на пол белые катанки – теплые, нагретые. Сунул в них ноги, притопнул по половице и повеселел: а ничего еще, скрипа не слышно...

Валенки ему понадобились по погоде – за окном густо валил снег. Как и положено по всем старым приметам – Покров наступал. Матвей Петрович оделся потеплее, нахлобучил шапку, вышел на крыльцо и замер, будто в белую стену уперся, – снег стеной стоял, от земли и до неба. Без просвета. И дух веял, особый, будто спелый арбуз разрезали. Матвей Петрович вздохнул на полную грудь, повеселел еще больше и бодренько спустился с крыльца, собираясь пройти вдоль улицы, которая вела на невысокий взгорок, где вздымалась острой макушкой в небо маленькая деревенская часовенка. Помолиться там собирался.

И надо же было – поскользнулся. Правда, успел ухватиться за перила. Упасть не упал, а спину пересекло, будто железный гвоздь вколотили чуть повыше заднего места. Стоял, согнувшись, и чуял, что без опоры даже одного шага сделать не сможет. Ни взад, ни вперед, ни вбок – вот как прихватило! Видно, пошевелил старые кости, брякнувшись с печки, вот они и зауросили.

Выручила его сноха Анфиса, которая давала коровам сено. Увидела со стога согнувшегося свекра, бросила вилы и, поспешая на помощь, заполошно заголосила:

– Тятя, ты чего согнулся?! Худо тебе?!

– Ты шибко-то не ори, – урезонил ее Матвей Петрович, – народ сбежится. Пособи-ка лучше на крыльцо взобраться.

Анфиса бабой была могучей, в кости широкой, и долго не раздумывала: чуть согнула крепкие ноги, уложила свекра на плечо и таким манером, в один мах, доставила его в избу. Уложила на кровать в горнице, разула, раздела, метнулась в погреб, достала редьку и, мелко нарубив ее сечкой в корыте, приложила на больную поясницу тестя, крепко перемотав чистой тряпицей.

Редька попалась злая, щипала, но Матвей Петрович даже не морщился – терпел, чувствуя, как саднящий гвоздь понемногу уходит из больного места. К вечеру совсем полегчало. Он даже поднялся с кровати, присел к столу и поужинал. А вот ночью, после недолгого сна, спина разболелась снова. Матвей Петрович лежал, переменяя боль, смотрел, не смыкая глаз, в темный потолок, и на душе у него было тоскливо.

В это время и раздался громкий стук в ворота, долетели с улицы голоса, и он сразу догадался, что сын Василий вернулся из Никольска, куда его отправляли три недели назад на плотях. По осени с недавних пор снаряжали в город плоты, там железная дорога недавно построилась, и лесу требовалось много. Вот жители Покровки и приноровились сплавлять плоты, а попутно, на продажу, грузили на них облепиху, бруснику, вяленую рыбу, арбузы – Никольск разрастался быстро и все съедал подчистую.

Матвей Петрович хотел подняться, чтобы встретить сына, но едва пошевелился, как поясница заныла еще сильнее, и он передумал. Слышал, как Анфиса открывала ворота, что-то говорила мужу, торопливо и неразборчиво, а затем испуганно ахала и снова говорила. Подосадовал: «До чего баба громогласная! Тараторит, как сорока...» А вот и сама Анфиса, легка на помине, вошла в горницу с лампой в руках, известила:

– Тятя, Василий приехал, а с ним учительница пожаловала, у нее письмо к тебе имеется. Как сделать-то? Сюда ее провести или спать уложить?

– Пусть все спать ложатся, – решил Матвей Петрович, – утром разговаривать станем, нечего зря керосин палить. И ты лампу по избе не таскай, уронишь ненароком, пожар сделаешь...

Анфиса послушно вышла из горницы, и скоро в избе все стихло.

Прикрыл глаза Матвей Петрович, хотел задремать, но сон отбегал от него, и дело было не в больной пояснице, а в том, что в последнее время спал он совсем мало – вздремнет, как птичка на ветке, и снова в темный потолок любителю, прошедшую жизнь вспоминает. Теперь она все чаще возвращалась к нему, и давнее прошлое вставало перед ним ярче и острее, чем прожитый накануне день...

...Сгрудились телеги с нагруженным на них скарбом, кричали бабы, ревели ребята, но громче всех причитала и завывала старуха Никандрова; стащив с головы платок, распатлав седые волосы, вздергивала вверх длинные худые руки и голосила:

– Ты куда нас завел, лиходей?! Здесь и луна на небе в другую сторону повернута! Заворачивай обратно, домой нас води!

И так она причитала, будто на похоронах, срываясь на визг, что никто слова не мог вставить. Как с ума сошла старуха, все ей чудилось, что в сибирской земле молодой месяц повернут рогами в другую сторону. Не выдержал тогда Матвей Петрович, осерчал крепко и, выдернув платок из рук старухи Никандровой, сунул этот платок ей прямо в раскрытый рот – как запечатал. Рывкнул на баб, чтобы они тоже замолкли и ребяташек успокоили, а затем уже, подняв голос до сердитого звона, тоже закричал:

– Какого лешего вы вразброд потянулись, как дурные коровы из стада! Силком вас сюда никто не тащил! Осталось-то – пережевать да выплюнуть! Потерпеть надо – не помрете!

И много еще чего выкрикивал Матвей Петрович, убеждая односельчан, что обратной дороги в Тамбовскую губернию нет, что надо идти дальше и что совсем скоро откроются перед ними благодатные места. Выкрикивал, а сам чувствовал, что плохо доходят его горячие слова. Устали люди, изверились, выветрилась из голов сладкая мечта за длинную и трудную дорогу. А как все мечтали, снимаясь с насиженного места, что придут в Сибирь и ждет их там вольная земля – бери сколько пожелается, живи как твоей душе угодно, катайся как сыр в масле.

Не вышло с сыром и с маслом... Без хлеба, на просяной каше, да и той не досыта, перебивались в последние дни. А лето в сибирских краях выдалось дождливое, дороги закисло непролазной грязью, телеги тонули по самые ступицы, кони измаялись, и ребра торчали у них под кожей, как палки. Вот и зароптал народ – где обещанная благодать? И, зароптав, призвал к ответу Матвея Петровича, который ходил в Сибирь ходоком и место для будущего жилья выбирал, а после, вернувшись в тамбовскую деревню, рассказывал: и лес там богатый, и луг, и две речки, которые, слившись, в большую реку Обь впадают, и земли для будущей пашни немерено имеется... Слушали его разинув рты, верили каждому слову, а по весне, отслужив в деревенской церкви молебен, погрузили на телеги пожитки и тронулись в путь – на новое место жительства, в благодатный край.

А теперь – шиворот-навыворот. Одни возвращаться желают, другие предлагают здесь остановиться, куда добрались, а третьи и вовсе отчаялись, руки опустили и только кричали, высказывая в сердцах Матвею Петровичу, как главному виновнику, обидные слова.

Вот и не стерпел он, заткнул рот старухе Никандровой, сам пошумел, а после, успокоившись, стал уговаривать мужиков, приводя свои резоны: лето кончается, если возвращаться – померзнут зимой в дороге, здесь, где остановились, – степь голая, ни речки нет, ни озера, и земля – сплошной суглинок, на котором лишь дурная трава растет... Долго уговаривал, упорно и вдруг осекся на полуслове, выругался черным ругательством и под ноги себе плю-

нул. Осенило его внезапно: а чего он, спрашивается, разоряется-убивается? Не желают? Ну и не надо! Насильно мил не будешь, хоть голову расколоти! Подозвал к себе сыновей, их у него четверо было, и велел им запрягать коней – дальше поедem! Кто желает, пусть следом пристраивается, а кто не желает... Вольному – воля!

Следом за Черепановыми пристроились всего лишь четыре семьи: Никандровы, вместе со своей старухой, которую силком усадили в телегу, Ореховы, Зубовы и Топоровы. Остальные с места не тронулись. Иные еще и ругались, посылая в спину обидные слова. Особенно старался Игнат Пашенный, мужик злой и никого, кроме себя, не почитавший. Уж такими речами он провожал отъезжавших, что у лошадей уши торчком вставали. Но Матвей Петрович все вытерпел, даже не оглянулся и ни слова в ответ не высказал. Понимал: не следует теперь в перепалку ввязываться, если уж разлетелся горшок, грохнувшись об пол, склеивать его – дело безнадежное. Иное теперь у него на уме было, более важное, – поскорее вывести всех, кто ему доверился, на благодатное и вольное место, которое он сам облюбовал и выбрал.

И Матвей Петрович вывел.

Когда небольшой обоз поднялся на взгорок, где теперь стоит часовенка, когда распахнулась перед глазами вся округа, с сосновым бором, с речками, с Обью, с широким лугом, украшенным озерами, все замолчали и притихли – не ожидали такого увидеть. Вот уж верно – вся обещанная благодать в одном месте сомкнулась. А день стоял тихий, теплый, солнце еще по-летнему светило, и все казалось ласковым и добрым, как в сказке.

К первым заморозкам переселенцы успели срубить на скорую руку неказистые избушки, стайки из жердей для живности; огляделись в окрестностях и еще раз уверились – благодатное место. Даже предстоящая зима этой уверенности не поколебала.

Незадолго до Покрова призвал Матвей Петрович своих сыновей, всех четверых, поставил их перед собой и неторопливо оглядел. Хорошие сыновья, ладные. Стоят по старшинству, все погодки: Александр, Алексей, Иван и самый младший – Василий, ему совсем недавно семнадцать стукнуло. Помолчал, разглядывая, и объявил свою отцовскую волю:

– На Покров, ребята, я всех вас женить буду, на всех одну свадьбу справим. А пока время есть, невест себе выбирайте. Что у Никандровых, что у Ореховых, что у Топоровых, что у Зубовых девок в избытке имеется. Любых выбирайте.

Никто из сыновей не ослушался, и на Покров все они стали женатыми.

Решение свое Матвей Петрович пояснял по-житейски просто:

– Так-то оно лучше, когда все родственники, крепче друг за дружку держаться станем. Как в воду глядел.

На первых порах только родственная скрепа и помогла. Зима выпала морозная, снежная, избушки, из сырого леса срубленные, грели плохо, с едой было тоже худо, но выручила охота – птицы и зверя в округе имелось в избытке, только не ленись. И до весеннего солнца, до первой зеленой травки, выдюжили. А дальше – только рубахи успевай скидывать, которые от едучего пота сами собой на ремки разваливались.

Через три года крепкая, ладная, работающая, а потому и сытая деревня стояла в благодатном месте. Назвали ее Покровкой.

И через три года появились односельчане из тамбовской деревни, которых привел Игнат Пашенный. Стали проситься в общество, каялись, что не послушались в свое время Матвея Петровича, остались на суглинках и досыта нахлебались горькой жизни. Матвей Петрович, избранный бессменным старостой, собрал своих родственников, и вынесли они решение: на готовое не пустим, а вот в чистом месте, где пожелаете, можете и обосноваться. Так появился Пашенный выселок, хотя, если разобраться, никто никуда не выселялся. Но название прилепилось, как кличка, и особо над ним не задумывались. Со временем встал на ноги и выселок. Только вот мира и лада между покровскими и пашенскими до сих пор нет.

Уже несколько десятков лет прошло, многих первых переселенцев сибирская земля в себя приняла, а скрытая вражда невидимо тлеет, как уголек под толстым слоем пепла...

– Ох, грехи наши тяжкие, – вздохнул Матвей Петрович, пошевелился, прислушиваясь к больной пояснице, и посмотрел в окно, завешенное ситцевой занавеской, – светать начинало. Вот и еще одна ночь прошла, а сна как не бывало.

И все-таки рано утром он накоротке уснул – зыбко, чутко. И увиделось ему странное видение: стоит он за околицей Покровки в густом тумане, белые волны плывут, клубятся; и вдруг невесомо, земли не касаясь, выходит из этих волн седая женщина с длинными, распущенными волосами и напрямик направляется к нему. В поводу она вела белого коня, а на коне сидела маленькая девчушка в белом платье, смеялась, запрокидывая голову, и всплескивала в ладошки. И женщина, и конь, и девчушка проплыли-проскользили мимо него, не останавливаясь, и он различил лишь тихий голос: «Помнишь наш уговор? Не забыл? Мне помощь твоя понадобится... Не отказывай... Сын твой Василий газетку привез из города, приberi ее, чтобы не потерялась, пригодится скоро... Я сама тебя позову, когда срок наступит. Услышишь».

И – канули.

Обернулся Матвей Петрович, а за спиной – никого. Только туман клубится. «Да как же так? – тревожно думал он во сне. – По какой причине она снова объявилась?»

Хотел крикнуть вослед, но краткий сон оборвался, как нитка, и увиделось, что горницу заливают солнечный свет.

Матвей Петрович тихонько приподнялся на кровати, сел, поставив на пол широкие ступни босых ног и низко опустил голову.

4

Гриня с малых лет выламывался из большой черепановской родовой, как колючий, с шишками, репейный куст, нечаянно попавший в стог отменного сена. Вроде всем хорош парень – и руки растут откуда надо, и за словом в карман не полезет, и работать может до седьмого пота, но лишь до тех пор, пока ему вожжа под хвост не угодит. А как угодит – сразу и выпрягся. Хоть кол ему на голове теши. Набьчится, глаза прищурит и стоять будет на своем до посинения. Ничем не свернешь.

Даже Матвей Петрович поразился, когда в первый раз попытался призвать внука к порядку. Доложили ему досужие бабы, что Елена, жена третьего, по возрасту, сына Ивана, до сих пор своего первенца кормит грудью, а парнишка уже на своих ногах и разговаривает, как мужик, – порою зло и матерно. Пошел проверить, хотя и не охотник он был появляться в избах своих сыновей без явной причины, потому что уважительно понимал – хозяин в семье должен быть один. Но тут не удержался – поднялся на крыльцо сыновней избы без приглашения. Открыл дверь, перешагнул через порог и остолбенел: Елена перед лавкой стоит, титьки на волю из кофтенки выпустила, а на лавке, крепко сбитый, как крутое тесто, Гриня ногами перебирает от удовольствия и во всю моченьку мамку сосет. Матвей Петрович от увиденного растерялся и ничего лучшего не придумал, как спросить:

– Ты чего, паршивец, делаешь?

Гриня нехотя оторвался от важной своей работы, деловито сплюнул на сторону, губы ладошкой вытер и сообщил:

– Титьку сосу...

– Тебе сколь годов-то?

– Сестой...

И дальше, как ни в чем не бывало, принялся к мамкиной груди.

Сообща парнишку от титки отвадили, для чего Елене пришлось мазать соски горчицей. Гриня неделю поорал, но, видя, что на уступки ему не идут, известил, как о деле решенном:

– Хрен с вами, теперь касу варите.

И закидывал в рот кашу, и все, что на стол ставили, будто после долгой голодухи – мгновенно и чисто, ни крошки не оставлял.

Но скоро наелся, жадничать перестал и пошел в рост – как на дрожжах поднимался. В четырнадцать лет его уже за взрослого парня принимали. На сенокосе наравне с мужиками по целой копне на стог забрасывал и лишь ругался, когда навильник, не выдержав тяжести, ломался, а сухое сено рушилось на землю.

Это было по лету, а по зиме Гриня остался без отца и без матери. Иван с Еленой поехали за Обь, за сеном, и с тех пор их больше никто не видел. Провалились они в промоину вместе с санями и с конем. Ушли под лед, и кроме санного следа ничего от них не осталось. Супруга Матвея Петровича, тихая и бессловесная Анна Федоровна, внезапного несчастья не пережила, скончалась той же зимой, и пришлось деду с внуком перебраться к Василию Матвеевичу, под крышей у которого они и живут по сей день.

Гриня после потери родителей не плакал, не убивался, даже слезинки не уронил, только угрюмо смотрел себе под ноги и на щеках, под молодой румяной кожей, тяжело ходили желваки. А вскоре появилась у него привычка – усмехаться нагло, если ему что-то не нравилось; глядит тебе прямо в глаза и усмехается. Матвей Петрович, чтобы дурь эту из внука выбить, и за бич хватался, и ругался, но мозги вправить парню так и не смог.

Сам же Гриня, терпеливо снося ругань и порку, на деда никогда не обижался, побаивался его, однако усмехаться продолжал по-прежнему, и упрямство его с годами только крепло.

Вот и в это утро, рано проснувшись, он сразу же вспомнил, как били его пашенские парни, и, вспомнив, твердо решил: «Ладно, подождите, я вам сопатки еще начищу, переловлю по одному и начищу!» Но тут же и позабыл об этой угрозе, потому что совсем иное встало перед глазами – белый конь, девушка на этом коне и выющийся за ней белый шарф, а еще послышался, как наяву, громкий, серебряный смех, будто она рядом стояла. Гриня даже голову повернул – нет, никого рядом с топчаном не было. Лишь на полу шевелились блеклые отсветы – это Анфиса, поднявшись раньше всех, затопила печку. Гриня вскочил, подергал плечами, разгоняя боль, – крепко его все-таки отмолотили! – и быстренько оделся. Анфиса, увидев его уже в шапке, вздернула руки:

– Ты куда в такую рань собрался?

– Пробежусь с утра, может, зайчишек добуду, по снежку-то, – торопливо отвечал Гриня, доставая свою старенькую берданку.

– Погоди, я хоть молока тебе налью, там картошка с ужина осталась...

– Да я не надолго, тетя Анфиса, скоро вернусь.

И быстренько, чтобы время на лишние разговоры не тратить, прошмыгнул в двери, а скоро уже выводил из конюшни каурого жеребчика, накидывал на него седло. По пустой улице, обозначенной в редеющих сумерках только дымами из печных труб, выехал за деревню, на поляну. Разглядел истоптанный ночью снег, бурые кровавые пятна и от этого памятного теперь места взял напрямик в сторону бора, куда ускакал белый конь со своей всадницей.

Ехал не торопясь, придерживая жеребчика, внимательно приглядывался, пытаюсь отыскать хоть какие-то следы, но их не было. Ровный, чистый снег лежал нетронутым. На востоке уже начинало синеть, виделось все яснее и поле до самой стены темного бора лежало как на ладони. И никто здесь вчерашней ночью не проезжал и не проскакивал. Но Гриня упрямо ехал дальше, уверенный в том, что должен остаться хоть какой-то знак. Ведь не

может такого быть, что ему все привиделось. Бить его, конечно, били, но память-то при нем оставалась, не тронулся же он умом, в конце концов! И Гриня забирал повод то вправо, то влево, направляя жеребчика челноком по полю, но напрасно – чисто. Доехал до бора, до крайних сосен, и остановился. Спрыгнул с седла, пошел медленным шагом, ведя за собой жеребчика в поводу.

Но и здесь, среди высоких сосен и молодого подростка, ничего ему отыскать не удалось, кроме путаной вязи от заячьих лап, – резвились здесь лопухие, совсем недавно. Но даже охотничий азарт не разыграл у Грини, берданка так за спиной и осталась. Поднялся на увал, вскинул глаза, оглядываясь вокруг, и замер – прямо перед ним, в двух шагах, висел на нижней сосновой ветке длинный белый шарф, доставая одним концом до самой земли. В полном безветрии он даже не шевелился. Гриня стащил рукавицу, протянул руку и осторожно снял шарф. Мягкая, гладкая материя была прохладной. Шарф легко струился между пальцев, словно вода. Гриня бережно сложил его и сунул за пазуху. Еще раз огляделся – нет, никаких следов вокруг даже не маячило. Прошел дальше по макушке увала, ничего больше не нашел и направился домой, пребывая в полной растерянности, потому что никакого объяснения увиденному ночью и своей сегодняшней находке у Грини не было, только одно удивление – разве могут такие чудеса случаться?!

За спиной у него, просекая первыми лучами макушки сосен, вставало круглое солнце.

5

Учительница, которую попутно доставил Василий Матвеевич, возвращаясь из Никольска, была еще совсем молоденькая; розовая после сна и умывания. По-детски смущалась, опуская глаза, и теребила тонкими пальцами края легкого вязаного платка, накинутого на плечи. Иногда она поднимала глаза, смотрела на всех, сидящих за столом, и улыбалась растерянno, словно просила прощения, что доставила так много хлопот.

Матвей Петрович только что прочитал письмо, которое она привезла с собой, аккуратно сложил по сгибам большой бумажный лист, исписанный красивым почерком никольского владыки Софрония, снял очки с носа и сказал:

– Вот и ладно, голубушка, что приехала. Как тебя звать-величать-то будем?

– Варвара Александровна, Варя...

– Ну, Варя – это для домашнего обихода, а на людях – Варвара Александровна. Теперь слушай, Варвара Александровна, чего я говорить буду. Предлагали нам в Покровке министерскую¹ школу открыть, а мы подумали и решили, что нам приходская² нужна, церковная. Церкви у нас пока нет, но часовенку сподобились, поставили, и церковь тоже поставим. Вот я и поехал в город к владыке нашему, Софронию, просьбу изложил, и обещал он помочь. Не забыл, значит, исполнил обещание. Школы у нас раньше никакой не имелось, все больше странствующих учителей³ на год нанимали. Когда хороший попадетсЯ, а когда – так себе... В прошлом годе совсем никудышный оказался. Не про ученье с утра у ребятишек спрашивает, а допытывается, у кого в семье какую еду на день готовят. Мы его по очереди кормили. Вот и начинает узнавать – где посытнее и послаще, узнает и говорит – передай матери, сегодня к вам питаться приду. Прямо беда с ним была... А теперь у нас и шkolка своя будет, и учительница тоже своя. На житье мы тебя пока здесь определим, у нас боковушка имеется сво-

¹ Министерская – школа, находившаяся в ведении Министерства народного просвещения.

² Церковно-приходская – школа, находившаяся в ведении местной епархии.

³ Странствующий учитель – учитель, которого нанимали по решению сельского схода за определенную плату и на определенный срок, как правило с поздней осени до весны.

бодная, чистенькая... Там и будешь. Анфиса все покажет. Теперь ты рассказывай – откуда, какого роду-племени и какими-такими путями в наших краях оказалась...

За столом, кроме Матвея Петровича и Варвары Александровны, сидели Василий Матвеевич и Анфиса, с любопытством разглядывали гостью, а сама гостья под их взглядами смущалась еще больше, и даже голосок у нее подрагивал:

– Я в Москве епархиальное училище закончила и... вот сюда приехала.

– Из Москвы?! – ахнули все в один голос.

– Да, из Москвы, – кивнула Варвара Александровна.

И дальше рассказала, что в Сибирь надумала ехать по собственной воле и охоте, а знакомый батюшка, отец ее духовный, посоветовал добираться до Никольска, где служит владыка Софроний, и рекомендательным письмом снабдил, потому что они с владыкой давно, еще с семинарии, знакомы и дружны. Доехала она до Никольска благополучно, пришла в епархию, и владыка принял ее очень душевно, как родную. Написал письмо для Матвея Петровича и поручил своим помощникам разыскать попутную оказию до Покровки, чтобы ехала она с людьми надежными и без всякой опаски. А тут, как раз к случаю, в городе оказался Василий Матвеевич, вместе с которым она и приехала без всяких происшествий в Покровку, и очень довольна, что ее здесь так хорошо встретили.

Продолжая удивляться, Матвей Петрович покачал головой, но больше Варвару Александровну расспрашивать ни о чем не стал, рассудив, что времени впереди много и будет еще возможность побеседовать обстоятельней.

После чая Анфиса увела гостью в маленькую боковую комнатку; отец с сыном остались вдвоем, и Василий Матвеевич принялся подробно рассказывать о том, что плоты нынче пришлось гнать с большими трудами, потому что Обь к осени сильно обмелела, но все обошлось, доплыли без задержек и лес продали в тот же день, как причалили. Также удачно сбыли ягоды, арбузы и рыбу, даже на базар ехать не понадобилось – все на берегу разобрали. Еще хотел Василий Матвеевич поведать, что на обратном пути, у самой деревни, подобрали крепко побитого Гриню, но передумал – вот вернется тот с охоты, тогда и разбирательство начнется. А раньше времени, пожалуй, торопить это разбирательство и не стоит, пусть своим ходом катится.

Рассказом сына Матвей Петрович остался доволен. Да и как не быть довольным, если такое большое дело – сплав плотов в город – удалось исполнить без всяких проволочек и без огорчений.

– Молодцы, ребята, – скупно похвалил он и сразу перевел разговор: – Ты, Василий, к вечеру мужиков кликни к сборне, надо будет про школу все порешать – какое жалованье положим, как дрова запасать станем, ну и кто ребятишек своих нынче в ученье отдаст... Все обговорить требуется. Ты там газетку, видел, из города привез, дай мне, любопытствую. А я пока пойду, полежу, спина у меня расхворалась. Скажи Анфисе, пусть еще редьки достанет...

Матвей Петрович поднялся из-за стола, пошел в горницу, но остановился и спросил:

– А Гриня где у нас нынче?

– До света еще поднялся, сказал, что на зайцев собрался, и ружье взял. Анфиса говорит, что и есть не стал.

– Ну ладно... Как вернется, пусть ко мне заглянет.

В горнице Матвей Петрович лег на кровать, поерзал, устраиваясь удобней, и собирался уже задремать, но тут подоспела Анфиса с редькой и, перематывая тестю больную поясницу, принялась сообщать:

– Гостья-то наша до того стыдливая, слово скажет и краснеет, не знаю, как она с ребятишками справляться будет. Вещички даже не разложила, сразу за стол села, тетрадку

достала и пишет чего-то... Я заглянула, а личико у нее горькое-горькое, будто заплакать собирается. Оно, конечно, без отца, без матери да в чужих людях – как тут не загорюешься...

– Ты поменьше к ней заглядывай, своими делами занимайся, – строго оборвал Матвей Петрович, помолчал и добавил: – Обживется, привыкнет и горевать перестанет.

6

Маленькое оконце в комнатке выходило на широкий и длинный огород, который полого спускался к речке. На краю огорода чернела приземистая баня. Крыша ее была увенчана скворечником на длинном шесте, а на скворечнике сидела ворона и чистила клювом оттопыренное крыло. Дальше, за речкой, виднелся луг, а еще дальше, за лугом, тянулся темной полосой лес и подпирал острыми макушками небо.

И все в этой картине было необычным, все казалось чужим и неведомым, и даже яркое солнце, озарявшее округу, не развеивало грустного чувства. Варя долго смотрела в окно, и чем дольше она смотрела, тем печальнее становились ее глаза. С этим печальным чувством она и вывела в раскрытой тетрадке первые строчки:

«Здравствуй, мой дорогой, навечно любимый Владимир!

Теперь, когда тебя нет на белом свете, я, не таясь, пишу эти слова, и душа моя наполняется тихим светом – так горько и так сладко беседовать с тобой и рассказывать обо всем, что происходит в моей жизни. Больше мне рассказывать некому, а ты, я уверена, всегда бы выслушал меня и понял. После того дня, когда я прочитала в газете о твоей гибели на войне, весь мир, который меня окружал, будто подернулся черной тенью. А я запоздало раскаиваюсь, что была с тобой холодна и скрывала свои чувства. Одно лишь меня оправдывает, что я не могла предвидеть, что случится со мною... А случилось многое. Прости, ради Бога, но я ловлю себя на мысли, что пишу совсем не о том, что хочется тебе сказать. Мне хочется сказать слова благодарности. Спасибо, родной, что ты встретился в тот памятный и бесконечно счастливый день, и я сразу же полюбила тебя – на всю жизнь, какая мне будет отпущена. Если бы этого не случилось, я бы, наверное, не смогла устоять перед людской злобой, которая обступала меня совсем недавно. Но я даже помыслом не согрешила против нашей любви, я неожиданно почувствовала себя очень сильной. Когда-нибудь я расскажу об этом подробно, а сейчас лишь сообщаю, что я начинаю свою жизнь заново, с чистого листа.

Вскоре после окончания курса в епархиальном училище я уехала из Москвы, а можно сказать, что и сбежала, как можно дальше. Письмо это, дорогой Владимир, я пишу из сибирской деревни с милым и хорошим названием Покровка, пишу как раз накануне Покрова, а за окном лежит белый, чистый снег. Здесь, в Покровке, я буду учительницей церковно-приходской школы, и здесь, вполне может так сложиться, я и останусь навсегда, потому что возвращаться мне некуда и не к кому. Тем более что ты со мной рядом, в моем сердце, и я беседую с тобой в любую минуту, когда вспоминаю, и пишу тебе письма, после которых мне становится легче. И совсем неважно, что ты никогда этих писем не прочитаешь и что они никуда не будут отправлены, а будут лежать на дне моего сундучка. Главное, что ты со мной. Я вижу тебя, слышу твой голос, твой смех, и этого мне вполне достаточно, чтобы проживаемые дни не казались напрасно прожитыми. А иногда я очень жалею, что не была с тобой рядом там, на войне, где я смогла бы перевязать твои раны, успокоить твою боль. Понимаю, что это глупость и неуместность, но все равно жалею...

На этом пока я закончу сегодняшнее письмо, потому что более подробно и обстоятельно напишу в следующий раз, а сегодня слишком много чувств переживаю и никак не могу успокоиться, чтобы мысли свои изложить по порядку. Знай, что я всегда буду тебя любить, и пусть твоей душе будет легко и светло там, где она сейчас пребывает.

Твоя Варя».

7

– Держись! Держи...

И оборвался хриплый, надрывный крик, будто острым ножом срезанный, канул и растворился в густой, беспорядочной пальбе, которая грохотала со всех сторон, туго забивая уши тупой и давящей болью. Но Владимир Гиацинтов успел этот крик услышать и даже голос узнал – кричал Белобородов, кричал, похоже, в последний раз, пытаясь ободрить своего командира и подать знак: я здесь, иду на помощь...

Не дошел.

И никто уже не дойдет.

Нет отныне команды охотников⁴ Забайкальского полка, соскользнула она, как в ночной поиск, без возврата, и остался под градом пуль безудержно нападающих японцев лишь командир, с одной-единственной, предназначенной ему теперь участью – последовать без задержки за своими подчиненными.

Но он, уже не надеясь выжить, все-таки продолжал воевать. Отстреливался, сколько мог, а затем кубарем, через голову, рискуя разбить ее о камни, скатился с узкой горной тропы в заросли высокого, непролазного кустарника, перезарядил свой винчестер и замер, не обнаруживая себя, пытаясь получить хотя бы несколько минут передышки, чтобы понять и уяснить: что произошло, как так получилось, что в спину им совершенно неожиданно ударили японцы? Зло, напористо, накатываясь тремя цепями и ведя такой плотный огонь, что сбитые пулями ветки кустарника сыпались без перерыва на землю, словно состригали их гигантские ножницы.

Под ноги ему вдруг выкатился серый комок. Гиацинтов вскинул винчестер, готовый выстрелить, но комок замер, прижимаясь к редкой траве, и прорезались круглые от ужаса глаза молодого зайца. Ошалевший от грохота, потерявший всякую осторожность, заяц бросился к живому существу, надеясь найти у него защиту. Гиацинтов не удержался, протянул руку и тронул зайца за плотно прижатые уши. Тот вскинулся над землей, развернулся в воздухе, упал на все четыре лапы и нырнул дальше в кусты, между тонкими стволами которых зияло небольшое свободное пространство. Гиацинтов, не раздумывая, рухнул плашмя и заполз в узкий и тесный лаз. Обдирая колени и локти, по-змеиному извиваясь, щекой бороздя землю, он продвигался вперед, и лаз, словно уступая его упорству, становился шире.

Через недолгое время, ориентируясь по звукам пальбы, Гиацинтов догадался, что все три японские цепи ушли вперед, а он остался у них позади. Кустарник перед ним поредел, и он настороженно приподнялся на четвереньки. Огляделся через просветы между листьев, и по спине, мокрой от пота, проскочил острый, пугающий холодок.

Гиацинтов ничего не понимал.

В просветах перед ним змеились траншеи, которые еще утром занимала рота поручика Речицкого. Они были пусты. И никаких следов боя: ни трупов убитых, ни брошенного оружия, ни воронок от взрывов – ничего, что он ожидал увидеть. Траншеи были просто пусты. Гиацинтов выполз из кустарника, добрался до края одной из них. Заглянул вниз. Пусто. Лишь сиротливо валялся на дне закопченный солдатский котелок, видимо, забытый в спешке каким-то растеряхой.

Значит, рота ушла, даже не известив командира охотников, что уходит. Оставила позиции и открыла японцам свободный проход к горному хребту, у подножия которого охотники готовились к подъему. Именно по хребту, по самой его макушке, Гиацинтов задумывал уйти

⁴ Команды охотников – формировались во время Русско-японской войны на добровольной основе из наиболее подготовленных и опытных солдат для выполнения специальных заданий.

на вылазку в японский тыл, да только получилось наоборот – ему ударили в спину. На голом месте, прижатые к горному склону, охотники продержались недолго, хотя и за малый срок успели хорошо проредить первую цепь. Но выше головы не прыгнешь... Гиацинтов видел, как гибнет его родная команда, и ничего не мог сделать, чтобы ее спасти.

Теперь, отползая от пустой траншеи и снова целясь к спасительному кустарнику, он испытывал только одно жгучее желание – выжить. Выжить лишь для того, чтобы встать перед поручиком Речицким и посмотреть ему в глаза...

8

До этого дня военная судьба Владимира Гиацинтова складывалась, как беспроигрышная игра в карты.

Он пошел на войну вольноопределяющимся, бросив университет и выхлопотав направление в Забайкальский полк, которым командовал его хороший знакомый – полковник Абросимов. С полковником в свое время они участвовали в конных скачках, соревновались в стрельбе и знали друг друга как хороших спортсменов. Поэтому неудивительно, что командир полка сразу же предложил Гиацинтову командовать охотниками, сопроводив свое предложение короткой речью:

– Дело, конечно, рискованное, но зато отважное. А вы, Владимир Игнатьевич, как я знаю, человек отважный. Вот и беритесь за это дело. Набирать в команду охотников будем сибирских таяжников и тунгусов, потому как они стрелки и следопыты – дай Бог. А что для парадного строя не годны – невелика печаль, нам тут не до парадов... Только у меня просьба, Владимир Игнатьевич, со своим винчестером в общий строй не вставайте, сами понимаете, не по уставу.

– А воевать с ним разрешается? – вежливо-ехидно поинтересовался Гиацинтов.

– Воевать разрешается, – будто не заметив ехидности, улыбнулся Абросимов, а затем со вздохом добавил: – Эх, веселые были времена!

Да, времена, и совсем недавно, действительно, были не скучные. Молодые офицеры и друживший с ними студент университета Гиацинтов в летнем саду, в ресторане, завели спор с иностранцами, как позже оказалось, англичанами, о разных способах стрельбы. И англичане стали убеждать, что самый эффективный – у американских ковбоев. И еще сообщали, что один из присутствующих англичан таким способом владеет. Дальше – больше. Головы молодые, горячие... Закончилось тем, что прямо из летнего сада две компании, русская и английская, отправились за город, где и устроены были самые настоящие соревнования. Особо отличился Владимир Гиацинтов, показав такой уровень, что англичанин, учившийся стрелять у американских ковбоев, честно признал свое полное поражение, хотя и огорчился неимоверно. А по возвращении в ресторан в летнем саду, видимо от этого самого огорчения, напился до полного изумления и пообещал своему победившему сопернику прислать в подарок скорострельный винчестер.

Как ни странно, обещание свое англичанин не заспал – выполнил.

Вот с этим винчестером Гиацинтов и прибыл в Забайкальский полк.

Впрочем, через неделю-другую никто уже не обращал внимания ни на винчестер вольноопределяющегося, ни на его внешний вид: папаху, гимнастерку с наплечными ремнями, широкий кожаный пояс, на котором висел трофейный японский кинжал, а на ногах вместо сапог – поршни⁵.

Столь же необычно была экипирована и вся остальная команда охотников, представлявшая из себя зрелище очень живописное: одна часть состояла из сибирских охотников

⁵ Поршни – самодельная обувь, которую использовали таяжники.

и являла собой вид внушительный, крепкий – все бородатые, кряжистые; а другая часть, состоявшая из тунгусов, казалась хрупкой и ранимой – невысокого роста, узкоплечие, лица у всех безбородые. Но знающим, воевавшим людям было хорошо ведомо, что никакой разницы между охотниками нет и что каждый из них в бою стоит десятерых.

Охотники ходили в японский тыл, устраивали засады, вели разведку, выслеживали и уничтожали хунхузов⁶, иначе говоря, воевали без передыха, и военное счастье от них не отворачивалось.

Гиацинтову, несмотря на молодость, хватило ума полностью доверяться опыту и смелке своих подчиненных, а они, в свою очередь, ценили его за беспредельную храбрость и за то, что он никогда не укрывался за их спинами.

Слава о команде охотников Забайкальского полка разнеслась быстро и широко. О ней писали в газетах, где печатали фотографические снимки бойцов и их командира. Но охотники газет не читали и о славе своей в далекой отсюда России даже не догадывались. Гиацинтов тоже газет на войне не читал, а к славе своей относился равнодушно, потому как терзали его ежедневно совсем иные заботы: провиант, патроны, очередной приказ и вечная головная боль – как этот приказ выполнить и не потерять своих охотников. Вылазки команды отличались особой лихостью, иногда казалось, что даже безрассудством, но всегда заканчивались успехом и почти без потерь. Гиацинтов полагался на своих бойцов, ставших для него родными, как на самого себя.

И вот теперь этих родных нет...

...Он огляделся, поднялся на ноги и двинулся вперед, чутко покоя в руках свой винчестер, в котором оставался всего один патрон.

9

Через трое суток Гиацинтов вышел в расположение Забайкальского полка. Оборванный, грязный, с разодранной щекой, кровь с которой тонкой цевкой сочилась на шею, он шарахался из стороны в сторону, едва держась на ногах, но упрямо отталкивал солдат, пытавшихся его поддержать, и сиплым, срывающимся голосом твердил:

– К командиру полка... К Абросимову... Срочно...

Маленькая китайская деревушка, тесно улепленная низкими, грязными фанзами, кишела, как муравьиная куча, – всю ее, до отказа, заполнил отступающий полк. В сумерках горели костры, опасно сыпали искрами на крыши, покрытые сухим гаолян⁷, пахло разваренной кашей и конским навозом; где-то неподалеку безудержно голосил петух, видимо, одуревший от столь обильного людского нашествия и спутавший утро с вечером.

Штаб полка располагался в большой палатке, разбитой на окраине деревни. У входа в нее стоял часовой. Он не узнал Гиацинтова и грозно выставил винтовку:

– Стой! Кто такие? По какой надобности?

– Борисов, доложи – командир охотников Гиацинтов.

– Владимир Игнатьевич... Я вас не признал, – часовой растерянно опустил винтовку.

– Я сам себя не признаю, – просипел Гиацинтов, – доложи, Борисов, быстро, пока я тут не свалился.

Но докладывать не потребовалось. Полковник Абросимов, услышавший голоса, сам выбежал из палатки, замер, будто споткнулся, затем крепко ухватил шатающегося Гиацинтова за плечи, повел в палатку и на ходу приговаривал:

– Живой! Живой! Живой!

⁶ Хунхузы – банды китайских разбойников, действовавшие в Маньчжурии и на русском Дальнем Востоке.

⁷ Гаолян – злаковое растение с длинным и толстым стеблем.

А когда усадил командира охотников на раскладной стул, растерянно добавил:

– Мы ведь вас похоронили, Владимир Игнатьевич... Батюшка наш даже заупокойную отслужил...

– Позовите поручика Речицкого.

– Зачем он вам? Петренко! Чего стоишь! Чаю, галеты, коньяк достань! Умыться приготовь!

Денщик Абросимова сорвался с места, расторопно засуетился, но Гиацинтов его остановил:

– Погоди, воды дай...

Двумя руками ухватил железную кружку. Руки тряслись, и вода расплескивалась на колени, тогда он рывком вздернул кружку к потрескавшимся губам, долго пил судорожными глотками, и острый кадык на шее, темной от пота, пыли и крови, сновал вверх-вниз, как челнок. Отнял от губ пустую кружку, перевел дух и голосом, уже не столь сиплым, повторил:

– Позовите поручика Речицкого.

– Да помилуй Бог, зачем он вам, Владимир Игнатьевич?! И не могу я его сейчас позвать, он боевое охранение проверяет.

– Все равно позовите, я дождусь. Хочу в глаза посмотреть. Из-за него всю мою команду положили. Как траву косой... Сбежал, сволочь, вместе с ротой и даже не предупредил! Японцы через пустые траншеи, как по проспекту, проскочили! Прижали нас на голом месте и... И кончили! Нет больше у вас охотников, господин полковник! Позовите Речицкого! Или я сам пойду его искать!

Круглое, щекастое лицо Абросимова посуровело, глаза сузились, и он резко наклонился, положил руку на плечо Гиацинтова, строго спросил:

– Вы даете себе отчет – о чем говорите?

– В здравом уме и твердой памяти.

– Я лично отдавал приказ об общем отступлении полка. Вы должны были отходить вместе с ротой Речицкого. Вы что, не получили этого приказа? Мы ведь решили, что вы попали в засаду, из арьергарда доложили, что слышали сильную перестрелку.

– Да не было никакой засады, господин полковник! – навзрыд закричал Гиацинтов. – Не было! Нас просто бросили подыхать! Не предупредили, не подождали, оставили траншеи и убежали, как крысы!

Абросимов выпрямился, отошел в сторону и сурово выговорил:

– Только давайте без нервов, Владимир Игнатьевич. Умывайтесь, пейте чай, приводите себя в порядок – во всех смыслах. Я сейчас вернусь.

Он стремительно вышел из палатки, резко откинув полог, слышно было, как позвал ординарца и негромко отдал приказ:

– Заседлай коня...

Еще что-то говорил, но Гиацинтов уже не различал слов – последние силы оставляли его измученное тело, и он, безвольно уронив голову, медленно сползал с раскладного стула, и когда стул под ним подвернулся и упал набок, он ничего не почувствовал. С наслаждением вытянул ноги и мгновенно провалился в мертвый сон.

Денщик Петренко растерянно стоял над ним с чайником в руке и не знал, что ему делать. Наконец сообразил: поставил чайник, раскатил попону и, ухватив Гиацинтова под мышки, дотащил его до этой попоны и уложил. Гиацинтов даже не шевельнулся, только всхрапнул и промычал что-то невнятное.

Не сразу очнулся он даже тогда, когда загрохотали по всей деревушке оглушительные взрывы шимозы⁸, разрывая вечерние сумерки зловещими сполохами блескучего пла-

⁸ Шимоза – японский снаряд, начиненный взрывчатым веществом в виде плотной, мелкозернистой массы; обладал

мени, не сразу услышал истошные людские крики и испуганное ржание лошадей, не увидел паники, которая охватила внезапно атакованный полк. А когда очнулся, было уже поздно: две шимозы, одна за другой, легли неподалеку от штабной палатки, снесли ее и спалили, как тряпку, а самого Гиацинтова отбросило взрывной волной далеко в сторону, и он, теперь уже контуженный, валялся возле стены фанзы, по крыше которой весело плясал огонь, освещая жуткую картину мощного артиллерийского налета.

Сознание возвращалось к нему медленно, урывками. Сначала он ощутил под собой холодную землю и снова уплыл в забытие, очнулся от ноющей боли, которая раскалывала голову, и лишь после этого различил чужую речь. «Японцы? Плен?» Не успел ответить самому себе на эти вопросы, как уши заложило, будто их заткнули ватой, и тугой, горячий туман унес в неизвестность. В третий раз, вынырнув из этого тумана, он испуганно открыл глаза и увидел над собой темное небо и мигающие звезды. Одолевая боль, пошевелил головой, и сразу же щеку ему обдало горячим дыханием, послышался торопливый шепот:

– Володя, а Володя, слушай меня...

Господи!

Так говорить, чуть нараспев и настойчиво, мог только один человек, его охотник, тунгус Федор Немтушин... Сколько раз он объяснял ему, что к командиру нельзя обращаться с такими словами, сколько раз грозился, что будет наказывать, а когда появлялось начальство, он всегда запикивал Федора во вторую шеренгу и велел молчать намертво, как немому. Федор виновато улыбался, прищуривая и без того узкие глаза, покаянно вздыхал, как нашаливший ребенок, но, когда возникала надобность, по-прежнему нараспев и настойчиво произносил:

– Володя, а Володя, слушай меня...

Солдатом он был превосходным, и Гиацинтов всегда его внимательно слушал, потому что знал: чутье бывалого охотника и следопыта не подведет. И не раз случалось так, что именно чутье Федора спасало жизнь многим из команды охотников, в том числе и самому командиру.

Но как он здесь оказался? Гиацинтов напрягся, попытался приподнять голову, хотел спросить, но с ужасом понял, что язык ему не подчиняется и вместо слов вываливается изо рта, как непрожеванная каша, один лишь мучительный, тягучий звук: а-а-а...

Но Федор обрадовался и этому, зашептал еще торопливее:

– Володя, а Володя, слушай меня, живой ты, а я боялся, что мертвый. У японов мы, меня пуля стукнула, валялся там, подняли, тащили... Тебя тоже тащили, я увидел, подошел, говорить стал... Говорю, говорю – Володя, слушай меня... Думал, мертвый, а ты живой... Теперь нас двое, теперь Федору не страшно...

«Пожалуй, ты прав. После всего, что случилось, уже ничего не страшно. Жаль только, что Вареньку не увижу...» – Гиацинтов пошевелился, но тут же зажмурился – нестерпимая боль в голове полохнула так, что сами собой навернулись слезы, и он почувствовал, как они, теплые, выскальзывают из-под сомкнутых век и медленно скатываются по щекам.

10

В редакции петербургской газеты «Русская беседа», в угловом кабинете, заваленном гранками, рукописными листами, книгами и журналами, разбросанными в беспорядке не только на столах и на подоконнике, но и на полу, ерзал на широком деревянном стуле известный репортер Алексей Москвин-Волгин и быстро, не отрываясь и не поднимая головы,

писал, время от времени громко стучая стальным пером о днище чернильницы. Стремительный, словно летящий почерк быстро покрывал бумажный лист:

«Срочная новость!

Возвращение из небытия.

Герой прошедшей войны, командир команды охотников Забайкальского полка Владимир Гиацинтов, о гибели которого в свое время сообщала наша газета, – жив! Сейчас, когда я пишу эти строки, он сидит передо мной в редакции “Русской беседы”, и я чувствую на себе его внимательный, чуть насмешливый взгляд. Невозможно словами передать несказанную радость, какую я испытал, когда увидел его перед собой – изможденного страданиями, но не сломленного духом. Настоящие круги ада пришлось пройти нашему герою, и это не красивая метафора, а суровая реальность. Контуженный, он попал в плен к японцам, из плена бежал, а затем с огромными трудностями вернулся на родную землю, потратив на этот длинный и тернистый путь, пролегший через чужие государства, без малого два года. И обо всем этом, подробно и обстоятельно, мы расскажем в следующих номерах нашей газеты.

Нам можно и должно гордиться такими героями!

Алексей Москвин-Волгин».

Поставив точку, он перечитал написанное, хотел еще что-то поправить и даже обмакнул перо в чернильницу, но взмахнул рукой и вздохнул:

– Некогда – метранпаж ждет. На первую полосу дадим – это же такое событие! Подожди, я мигом...

Гиацинтов, действительно, сидел напротив, в старом, продавленном кресле, постукивал пальцами по подлокотникам и на давнего своего друга, однокашника по университету, поглядывал, как на беспокойного ребенка: ну что тут скажешь – чудит дитя, по малости лет и по неразумности ему простительно. Вид у Гиацинтова был красочный: растоптанные башмаки с отваливающимися подошвами, потрепанные мятые брюки, рубашка с оторванным воротником и кургузый пиджак с обремкавшимися лацканами, явно с чужого плеча. Исхудалое лицо, неровно обросшее темной клочковатой бородкой, покрывал нездешний, почти коричневый загар – ничего не осталось от прежнего щеголя, каким Гиацинтов всегда выглядел. Но жесты были прежними – уверенные, порывистые. Рывком поднялся из кресла, ловко выдернул бумажный лист из рук Москвина-Волгина, прошелся по кабинету, громко стучая башмаками по рассохшемуся паркету, прочитал срочную новость, которая должна была появиться на первой полосе в завтрашнем номере «Русской беседы», и нарочито громко зевнул:

– Слишком выпренный у вас псевдоним, Алексей Харитонович. Только вслушайся – Москвин да еще Волгин! Попроще бы, поскромнее. Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин. Или, в крайнем уж случае, Гусев Алексей. Чем плоха родовая фамилия? Га, га... И птица достойная, и русским духом от нее веет: гуси-лебеди, унесите меня за синие моря... Да и стиль у тебя аховый... Бульварщиной отдает. Честное слово, раньше ты лучше писал!

– Ладно, не насмешничай. Я же не обсуждаю твою цветочную фамилию.

– Свою фамилию, как тебе известно, я от родителей получил, а ты свой псевдоним от собственной гордыни сочинил.

– Хватит, хватит, не ерничай. Давай сюда рукопись, я быстренько побегу в набор отдам и сразу же вернусь, а дальше будем... – Москвин-Волгин не успел договорить и осекся, когда увидел, что Гиацинтов сложил пополам бумажный лист, разорвал его, половинки еще раз перегнул и еще раз разорвал; разжал пальцы, и бумажные клочки густо посыпались на его разбитые башмаки.

– Экая жалость. – Гиацинтов глянул себе под ноги, снова зевнул и добавил: – Выйдет завтра твоя газета без срочной новости.

– Ты что делаешь?! – Москвин-Волгин вскочил со стула, словно драчливый петух спорхнул с насеста, подбежал к своему другу, вздернул голову, отчего рыжие, до огнистого отлива, волосы разметались во все стороны и встопорщились. – Ты что, с ума сошел?!

– Ничего дурного, Алексей Харитонович, я не совершаю, просто-напросто порвал бумажку. А теперь давай сядем, каждый на свое место, и серьезно поговорим. Уселся? И я присяду. Подробный и обстоятельный рассказ о моих злоключениях, как ты изволил написать, отложим до лучших времен, а теперь пойми и уясни – меня в Российской империи на сегодняшний день не существует. Нет меня здесь! Погиб я. И во всех надлежащих бумагах об этом написано. Любой городской может взять меня за шкуру и доставить в участок. Пока станут разбираться, а казенное разбирательство у нас долгое, буду я жевать тюремную кашу и давить клопов на стене узилища. Такое положение мне совсем нежелательно.

– Но мы же твою фотографию печатали! Ты герой!

– И был на той фотографии запечатлен боевой и красивый командир команды охотников с винчестером. А теперь глянь на меня... И самое главное – я не хочу, не желаю пока, чтобы один человек знал о том, что я выжил. Так что извещать читающую публику о моем прибытии явно преждевременно.

– Я не пойму, Владимир, о чем ты говоришь?! И чего ты хочешь?!

– Алексей Харитонович... Вы все такой же нетерпеливый и пылкий, как юноша... Хорошо, буду краток. Мне нужны деньги, приличная одежда и приличный номер в гостинице, главное, чтобы клопов не было, все остальное готов стерпеть. Номер на двоих. На меня и на моего товарища.

– Подожди, какой еще товарищ?

– Очень хороший. Мы и воевали с ним вместе, и из плена вместе бежали, и сюда вместе прибыли. Как говорится, неразлучные друзья. Да он здесь, в коридорчике дожидается, я тебя представляю. А сейчас жду – что ответишь на мою просьбу?

– Со средствами у меня туговато. Но через два часа, если ты подождешь, деньги поставлю добыть. Заодно, по дороге, я и номер сниму в гостинице.

– Мне сегодня в таком виде, – Гиацинтов приподнял истрепанные штанины, показывая, что башмаки у него надеты на босые ноги, – торопиться абсолютно некуда. Конечно, подожду. Заодно и газеты почитаю, отвык от русских газет. Знаешь, пока до тебя добирался, даже вывески на лавках читал – такое, оказывается, наслаждение! Да, пойдем, с товарищем моим познакомлю. Прошу!

Он открыл половинку высокой двустворчатой двери, пропустил Алексея и сам, следом за ним, вышагнул в узкий коридорчик, где на длинном кожаном диване, скрючившись, тихомирно спал Федор. Но спал чутко – услышал шаги, направленные к нему, и сразу же встрепенулся, упруго вскочил на ноги, и его узкие черные глаза, совсем не заспанные, настороженно стрельнули на незнакомого человека и в конец коридора, где был выход из редакции.

– Не бойся, Федор, убегать не придется, – успокоил его Гиацинтов, – вот, познакомься – это товарищ мой, который в газетах пишет. Если врать ему красиво будешь, он и про тебя напишет.

– Здрас-сьте, здрас-сьте, – двумя грязными ладонями Федор осторожно взял протянутую руку Москвина-Волгина, долго тряс ее и приговаривал: – Федор никогда не врет, Федор правду говорит, Подя и Никола видят, когда шибко врешь – накажут...

– Никола, как я понимаю, Николай-угодник, а Подя – кто такой? – улыбаясь, спросил Москвин-Волгин.

– Бог наш, всех тунгусов, – Федор оттопырил палец и осторожно, боязливо показал им вверх, в потолок.

– Выходит, что ты под двойной защитой находишься, теперь понимаю, почему вы живые остались, – Москвин-Волгин рассмеялся, продолжая с любопытством разглядывать необычного здесь, в стенах редакции, человека, с которым только что познакомился.

Вид у него был еще красочней, чем у Гиацинтова. Непонятного цвета и покроя одежды с неровно вырезанными дырами для рук укрывала его от плеч до коленей, дальше из-под одежды виднелись толстые шерстяные носки грубой вязки, плотно натянутые на ноги, обутые в кожаные тапки. Густые жесткие волосы, давно не стриженные, спутались и торчали во все стороны. Плоское безбородое лицо, покрытое мелкими морщинками, излучало добродушие и неподдельную радость.

– Да, братцы, в люди вас выпускать в таком виде, конечно, не следует. Сидите у меня в кабинете и ждите, я постараюсь не задерживаться, – Москвин-Волгин скорым шагом, почти бегом, миновал редакционный коридор и скрылся за зелеными дверями, выйдя на улицу.

Гиацинтов и Федор направились в его кабинет.

Ждать им пришлось недолго. Часа через два Москвин-Волгин вернулся. По улыбающемуся лицу, густо усеянному, как у мальчишки, крупными веснушками, нетрудно было догадаться, что вернулся он не с пустыми руками.

Так и оказалось.

У редакционного подъезда ждал извозчик, который мигом доставил их в галантерейный магазин, где встретил сам хозяин, хорошо знавший репортера Москвина-Волгина. В долг ему, без всякой расписки, были выданы деньги, спутники его снабжены одеждой, бельем, обувью и даже носовыми платками. Так же быстро решилось и устройство в гостиницу: светлый, просторный номер с высокими окнами, стекла которых были чисты и не засижены мухами, с отдельной ванной, с большим китайским ковром темно-синего цвета, лежавшим на полу, – все было уютным, даже нарядным. Гиацинтов, остановившись посреди ковра, первым делом скинул башмаки, затем пиджак, брюки и, раздевшись догола, направился в спальню. Уже оттуда, перекрывая шум льющейся воды, крикнул:

– Алексей, низкий поклон за такую благодать! Вечером жду в гости, на званый ужин. Обязательно приходи, иначе обижусь и ничего не расскажу.

Впрочем, и вечером он ничего не рассказал своему давнему другу о том, что ему довелось испытать за последнее время, только вздохнул, нахмурился и, притушив в пепельнице дорогую сигару, попросил:

– Спрячь свой блокнот подальше и больше не доставай. Придет время, сам попрошу, чтобы ты выслушал. А сейчас – извини... Давай лучше, как в былые годы, споем нашу, застольную...

И он затянул сильным красивым голосом старинную песню, которую они любили когда-то распевать на шумных, а порою и буйных студенческих вечеринках:

Нелюдимо наше море...

Алексей по-бабьи подпер веснушчатую щеку ладонью и поддержал его:

День и ночь шумит оно...

Хорошо, душевно пели бывшие студенты славного Московского университета. Даже Федор выглянул из спальни, белея в темном проеме кальсонами и нижней рубашкой; стоял, склонив к плечу голову, слушал. А когда песня закончилась, тихо, почему-то на цыпочках, отошел от двери.

– Может, его к столу позвать... – предложил Москвин-Волгин.

– Нельзя, – строго ответил Гиацинтов, – ему пить нельзя. У него так организм устроен от природы, что от малой капли голову теряет. Пусть отдыхает – сытый теперь, в тепле, в мягкой постели... Золотой человек, душа как у ребенка – безгрешная и как у старца – мудрая. Не будь рядом Федора, я, пожалуй, не выжил бы. Вот о ком писать надо, Алексей. Ладно, напишешь еще, какие твои годы...

– Не надо про мои годы... Если не желаешь рассказывать о прошлом, тогда поведай о будущем. Что ты намерен делать дальше?

– Дальше? Дальше мы будем пить вино и петь песни. А еще я буду наслаждаться вот этой шелковой рубашкой, которая сейчас на мне, и предвкушать, как я лягу спать на чистую, хорошо выглаженную простыню.

– И как долго ты намерен это проделывать?

– Пока не надоест. А надоест, поверь мне, еще не скоро.

– Владимир, я не первый день тебя знаю. Давай без этого шутовского тона. О чем ты еще хочешь меня попросить?

Гиацинтов рывком поднялся из-за стола, прошелся по номеру, остановился напротив окна и стал вглядываться в ночную темень, разорванную желтыми пятнами фонарей, словно хотел там что-то увидеть. Долго молчал. Затем, не оборачиваясь, резко и громко заговорил:

– Попросить я тебя хочу только об одном, самом главном. И заключается это главное в том, что я должен в самое ближайшее время непременно разыскать поручика Речицкого, с которым служил в Забайкальском полку.

– Зачем? Для чего?

– Все подробности, причины и следствия я поведаю отдельно. Главное – нужно его найти. Родом, насколько мне известно, он отсюда, из Петербурга. Ты же был военным корреспондентом «Русской беседы», у тебя должны остаться связи, возобнови их, узнай. Если его нет в Петербурге, то где он может находиться... Сам я сделать этого сейчас не могу. А ты – сможешь. Найдешь – я твой вечный должник. Поверь, ничего более важного на сегодняшний день в моей жизни нет, – Гиацинтов пристукнул крепко сжатым кулаком по подоконнику, обернулся и прошептал: – Понимаешь, я этого момента, чтобы встать перед ним и в глаза посмотреть, несколько лет жду. Иногда ночами снится... Поэтому и объявляться не хочу раньше времени, чтобы он не узнал.

– Хорошо, я все сделаю. Только все-таки поясни – почему ты не желаешь рассказать подробно? Одни полунамеки и недомолвки...

– А потому, дорогой Алексей Харитонович, что вот здесь, – Гиацинтов постучал по груди ладонью, – столько всего накопилось, что я боюсь раскрывать рот и боюсь что-либо рассказывать – захлебнусь! После, когда-нибудь... А теперь наливай вина, будем песни петь...

Москвин-Волгин недоуменно покачал головой, сморщился всем своим веснушчатым лицом, изображая полное разочарование, и послушно протянул руку к графину с вином.

11

Репортер «Русской беседы» Москвин-Волгин был человеком слова, что довольно редко встречалось среди людей его профессии, которые, как правило, были многоречивы и говорливы и, наверное, именно по этой причине многое из сказанного сразу же забывали. Он отличался среди пишущих собратьев одним несомненным достоинством: если его о чем-то просили и он говорил «да», можно было не сомневаться – в лепешку расшибется, но сделает. Однако, если на просьбу отвечал «нет», это значило, что ответ окончательный и переубедить его невозможно – хоть на коленях ползай, не уговоришь.

Все это Гиацинтов прекрасно знал, очень ценил эти качества старого друга и поэтому, не выходя из гостиницы вот уже четвертый день, терпеливо ждал, коротая время за чтением газет и за разговорами с Федором, который никак не мог привыкнуть к гостиничному номеру и все ручки дверей открывал с великой осторожностью: подкрадывался, словно на охоте, боязливо протягивал руку, шептал что-то непонятное и лишь после этого неслышно входил в спальню или в ванную. Гиацинтов посмеивался, наблюдая за ним, но Федору, видно, было не до смеха, и он шепотом говорил:

– Володя, а Володя, слушай меня, шибко богато здесь... Пойдем в другое место. Где богато – там худо.

– Ты настоящего богатства не видел, Федор. А это – так, скромная бедность. Не нищета, конечно, но – бедность. Так что ходи свободно, вольно и не осторожничай.

Федор вслух не возражал, но по номеру продолжал передвигаться с прежней боязливостью.

На четвертый день, уже поздно вечером, появился Москвин-Волгин. Одной рукой он приглаживал растрепанные рыжие волосы, а другую вздымал вверх, словно страстный оратор, собирающийся обрушить на своих слушателей горячую речь. Но речь произносить не стал, безвольно и безнадежно уронил поднятую руку, вздохнул:

– Чем дальше в лес, тем гуще заросли, и даже просвета не видать. Я уже ничего не понимаю, дорогой мой друг Владимир. Зачем тебе этот поручик, тем более что он по ранению оставил военную службу и трудится сейчас скромной серой мышкой – не то делопроизводитель, не то регистратор в Скобелевском комитете.

– Не слышал про такой комитет, поясни...

– Поясняю. Создан во время войны благодаря хлопотам княгини Белосельской-Белозерской, которая является сестрой покойного Михаила Дмитриевича Скобелева. Надеюсь, кто такой Скобелев, тебе рассказывать не надо?

– Спасибо, знаю.

– Не стоит благодарить, я бескорыстный. Итак, занимается сей комитет имени генерал-адъютанта Скобелева делом благородным и нужным – собирает пожертвования и выдает пособия увечным воинам. Да, забыл главное. – Москвин-Волгин, как хороший актер, выдержал долгую паузу и закончил: – Завтра у Речицкого состоится свадьба, венчание намечено в Андреевском соборе, что на Васильевском острове, в два часа пополудни. Кто является его счастливой избранницей, я выяснить не успел. И все-таки – зачем он тебе так срочно понадобился? Может, расскажешь...

– Обязательно расскажу, придет время – все расскажу, как на исповеди. Алексей, тебе секундантом на дуэли быть не приходилось?

– Бог миловал.

– Ну, тогда считай, что на сей раз эта милость отменяется. Будешь моим секундантом.

Москвин-Волгин взъерошил свои рыжие волосы, потянул их вверх двумя руками, словно хотел приподнять себя над полом, и сердитым голосом, в котором уже не слышалось никакой насмешки, закричал:

– Да ты с ума сошел! На войне не настрелялся?! Мало японцев положил, теперь давай по своим палить?!

– Не кричи, тебе это совсем не к лицу. Ты же не истеричная девица. Значит, завтра в два часа пополудни... Замечательно! Времени, чтобы подготовиться, у меня достаточно. А тебя, Алексей, я жду тоже завтра, вечером, часов в семь. И никаких вопросов сейчас, умерь на время свое любопытство.

– Завтра так завтра, – вздохнул Москвин-Волгин, постоял посреди номера, словно пытался что-то вспомнить, посмотрел на Гиацинтова с искренним состраданием, как смотрят на безнадежно больных, и молча вышел.

На следующий день, ровно в два часа пополудни, Владимир Гиацинтов стоял у входа в Андреевский собор, чуть в отдалении от остальных гостей, и мило улыбался, оглядываясь вокруг, словно радовался от всей души предстоящему венчанию молодых. В одной руке он держал пышный букет белых роз, а в другой – маленькую деревянную шкатулку, украшенную витиеватой резьбой. Во фраке, в белой накрахмаленной манишке, в сияющих, зеркально начищенных ботинках, Гиацинтов смотрелся настоящим красавцем – высокий, широкоплечий, уверенный. Загорелое, резко очерченное лицо придавало ему необычность, и он ловил на себе любопытные взгляды молодых дам, но вида, что он эти взгляды замечает, не подавал и продолжал мило улыбаться, посматривая на открытые двери храма, откуда должны были скоро появиться молодые.

Улыбаться он перестал, когда отставной поручик Речицкий вышел со своей избранницей из собора. Губы сжались, глаза потемнели и прищурились. Не отрываясь, он смотрел на Речицкого. А тот, смущенный всем происходящим, растерян и, видно, невпопад что-то отвечал гостям, которые его поздравляли, и все отводил за спину правую руку, словно стеснялся, что из рукава праздничного костюма виднеется черный протез. Совсем юная невеста тонкими пальцами, затянутыми в кружевную перчатку, пыталась придержать фату, но резкий ветерок вырывал ее, и фата, закрывая лицо, весело порхала в воздухе.

«Умилительная картинка, слеза пробивает...» – со злостью подумал Гиацинтов и стал подниматься по ступеням к молодым. Подошел он к ним с прежней милой улыбкой. Поклонился, вручил невесте букет и, выпрямившись, взглянул, прямо в глаза, Речицкому. Тот взгляда не отвел. Смущенную растерянность с лица будто смыло, и оно стало суровым. Гиацинтов смотрел и молчал. Вот и сбылось его неистовое желание, выношенное за долгое время, он смотрел в глаза ненавистному человеку и был уверен, что теперь этот человек в полной его власти и от наказания не уйдет. Только бы не сорваться...

– Поздравляю, господин поручик. Искренне рад, что вы приобрели столь прекрасное сокровище. – Гиацинтов восхищенно взглянул на невесту и протянул Речицкому шкатулку. – Это вам, на долгую и счастливую семейную жизнь.

– Благодарю. – Речицкий принял левой рукой шкатулку, даже не взглянув на нее, и хрипло, на вздохе, произнес: – А я верил, что вы не погибли, Владимир Игнатьевич, всегда верил, что вы остались в живых.

– А я всегда верил, что мы с вами обязательно встретимся, господин поручик. Еще раз поздравляю, и не забудьте сегодня в шкатулку заглянуть, – Гиацинтов поклонился невесте и быстро, не оглядываясь, спустился по ступеням и скорым шагом пошел по мостовой, у края которой стояли нарядные экипажи и ветер бойко трепал на дугах разноцветные ленты.

Мимо экипажей, мимо нарядных гостей, мимо нищих, рассевшихся в ожидании щедрого подаяния, мимо цветочницы, у которой недавно покупал белые розы, Гиацинтов просквозил, словно стрела. Не шел – бежал. Потому что боялся – не сдержит сейчас себя, развернется, кинется по ступеням и... Сжимал кулаки с такой силой, что побелели казанки.

Сзади, догоняя его, раздался цокот конских копыт и громкий, знакомый голос окликнул:

– Владимир Игнатьевич, не бегите так быстро, лошадь за вами не поспевает!

Оглянулся – ну конечно! Кто еще мог его окликать, кроме Москвина-Волгина. Не дожидаясь приглашения, Гиацинтов ловко запрыгнул в коляску, уселся и сердито спросил:

– Следил?

– Никак нет – любопытствовал. А любопытство, позвольте вам доложить, является составной частью моего репортерского ремесла. Кстати, хочу спросить – а что находится в той шкатулочке, которую вы преподнесли жениху?

– В шкатулочке, – передразнил Гиацинтов своего друга, – находится коротенькая записочка. И сообщается в ней, что Речицкий – трус и подлец и что завтра мы с ним будем стре-

ляться. А еще написан адрес, где я нахожусь, и время, когда он должен явиться. Так что предстоит тебе завтра исполнять роль секунданта. Вечером хотел сообщить, но ты, как всегда, впереди, будто скаковая лошадь...

– Такова моя участь – не бежать следом за событиями, а предугадывать и опережать их! – Москвин-Волгин неожиданно сбился с шутейного тона и заговорил совсем по-иному: – Ты же отличный стрелок, а ему придется стрелять с левой руки. Это убийство, а не дуэль! И на следующий день после свадьбы... Ты что, не мог подождать?

– Не мог. А стрелять ему с правой руки надо было в другом месте. И все! Хватит! Вези меня до гостиницы, завтра, в десять часов, жду без опозданий!

12

Но утром, гораздо раньше назначенного часа, первым в дверь номера постучал Речицкий – громко и требовательно. Гиацинтов только что вышел из ванной, на плечи у него было наброшено широкое махровое полотенце, и он, не снимая его, направился открывать, подумав, что это пришел по какой-то причине коридорный. Увидев перед собой Речицкого, удивился, но вида не показал, пригласил пройти.

Из спальни, разбуженный стуком, выглянул Федор, да так и замер, ухватив руками кальсоны, которые собирался поддернуть. Он, конечно, узнал Речицкого и поэтому растерялся, не понимая, что ему делать: то ли обратно отшагнуть в спальню, чтобы ничего не видеть, то ли, наоборот, выйти и внимательней поглядеть на поручика, по вине которого погибла команда охотников. Ничего не придумав, он продолжал стоять в нелепой позе, и лицо у него, всегда добродушное, становилось все более угрюмым.

– Федор, ступай, оденься и выходи, – Гиацинтов сдернул полотенце, кинул его на диван, быстро натянул рубашку и, отойдя к окну, насмешливо сказал: – Простите, господин поручик, что мы одеты не по форме, слишком уж рано вы появились. Не ожидал я...

– Сейчас вы поймете, Владимир Игнатьевич, что ничего странного в моем раннем появлении нет. Я ваш вызов принял, не беспокойтесь, не убегу. Мой секундант ждет в коляске. Но у нас есть время, чтобы вы меня выслушали. Давайте присядем, в ногах, говорят, правды нет.

– А стоит ли нам о чем-то разговаривать? Мне лично все предельно ясно. Федор, ты всех помнишь, кто у нас в команде был?

Федор, появившийся из спальни, одернул рубаху, вытянулся, будто в строй встал, и с готовностью ответил:

– Володя, я всех знаю. – Начал загибать пальцы: – Белобородов, Воронов...

Он старательно перечислял фамилии, произнося их четко и правильно, будто вел переключку, а когда перечислил всех, никого не забыв, опустил руки и вздохнул.

– Вот, господин поручик, сколько хороших людей из-за вашей трусости отошли в иной мир. Только нам двоим повезло в живых остаться. И вы предлагаете теперь еще разговаривать... О чем?

– О вас, Владимир Игнатьевич. Давайте все-таки присядем. И, если можно, наедине.

Поведение Речицкого сбивало с толку. Ожидал Гиацинтов, уверен был, что отставной поручик испугается, по крайней мере станет оправдываться, но тот смотрел прямо, говорил ровным спокойным голосом, и видно было, что никакого испуга у него нет. Гиацинтов попросил Федора, чтобы тот подождал в спальне, сам же присел к столу; все-таки разбирало любопытство – о чем желает поведать этот человек, которого он так ненавидел, что готов был убить прямо сейчас, без раздумий и без колебаний.

Речицкий несуетливо и основательно сел напротив, оперся на столешницу, закрыв левой рукой черный протез, и заговорил, не сбиваясь, словно читал заранее написанный и заученный текст:

– Вы, конечно, помните вольноопределяющегося Забелина. Он прибыл в полк вместе с вами, и вы, насколько я знаю, были с ним в приятельских отношениях. Так вот, полковник Абросимов, отдав приказ об отступлении полка, отправил Забелина в мою роту и в команду охотников, то есть к вам. Когда я получил приказ, я спросил у Забелина: а как же охотники? И получил ответ: охотники уже поднялись на горный хребет и ушли в тыл к японцам. Тогда я со спокойной душой вывел роту из траншей и повел ее в эту проклятую китайскую деревушку, из которой нас так лихо вышибли японцы. После, когда отошли на новые позиции и привели себя в порядок, Абросимов назначил расследование, обвинив меня в том, что я не дождался охотников и не отступил вместе с ними. Стали разбираться. И когда выяснилось, что Забелин до охотников не дошел, а меня просто-напросто обманул, полковник приказал его арестовать. Тут снова бои, меня ранило в руку. Рана была пустяковая, кость не задело, думал, что заживет, но рука стала гноиться. Отправляют меня в госпиталь, и в это время я узнаю, что Забелин, находясь под арестом, сошел с ума. В госпиталь меня отправили вместе с ним. Дали санитаря с повозкой, поехали. Зрелище жалкое: изо рта у Забелина слюна течет, глаза дикие, бормочет что-то несвязное, понять невозможно. Я такое в первый раз видел, даже не по себе стало. Смотрю на него, а самого то в жар, то в холод бросает, никак понять не могу – что со мной? Потом догадался, что температура поднялась. Попросил санитаря, чтобы воды принес. Тот лошадь остановил, пошел с котелком воду искать, а мы с Забелиным в повозке остались. И вдруг он в один миг преображается: слюна не течет, смотрит осмысленно и смеется. Радостно смеется. Я начинаю понимать, что передо мной нормальный человек сидит, никакой он не сумасшедший. А Забелин, видя мое удивление, подтверждает: не думайте, поручик, что я тронулся, нет, я свое давнее и тайное желание выполнил – отправил на тот свет выскочку Гиацинтова... И дальше, будто на исповеди, взял и выложил, что он всегда вам завидовал, всегда вас ненавидел, и еще говорил, что между вами встала женщина... Много говорил, в подробностях, ему, видно, очень хотелось выговориться, так хотелось, что он даже потерял осторожность. Может, еще и потому, что видел мое состояние: я уже почти не слышал его, сознание терял, потому что гангрена, оказывается, началась. Как добрались до госпиталя – не помню. Очнулся уже в палате и без руки. После я пытался найти Забелина, навел справки. Его отправили в скорбный дом, но он оттуда быстро исчез. Куда – неизвестно до сих пор. Вот это я и хотел сказать вам, Владимир Игнатьевич. Посчитал своим долгом. Дуэль непредсказуема, мало ли что... А теперь – я к вашим услугам. Мой секундант, как я говорил, ждет.

Речицкий поднялся, одернул левой рукой полу пиджака, расправил плечи и вскинул голову.

Гиацинтов продолжал сидеть за столом и был в полном недоумении. Спросил:

– Вы считаете, что я вам должен поверить?

– Я ничего не считаю, – последовал четкий ответ, – все, что хотел сказать, я сказал.

– А невеста знает, что вы на дуэль отправились?

– Знает.

– И, наверное, плачет?

– Нет, она не плачет, она молится за меня.

В это время дверь спальни открылась, и Федор, высунув в проем голову, подал голос:

– Володя, а Володя, слушай меня – он правду говорит!

– А почему ты так решил? – удивился Гиацинтов и даже поднялся из-за стола.

– Мне сердце подсказывает. Сердце меня не обманывает. Правду человек говорит, ему верить надо. – И, сказав это твердым голосом, Федор осторожно прикрыл дверь, видно, посчитал, что больше слов тратить не нужно.

Гиацинтов мало знал поручика Речицкого, с которым они прослужили в Забайкальском полку не больше полутора месяцев, да и за этот короткий срок охотники несколько раз уходили на задания. Получается, что виделись лишь считанные дни: козырнули друг другу, перекинулись несколькими ничего не значащими фразами – вот и все. И хотя говорят, что на войне человека можно узнать за один день, им такого испытать не довелось. А вот вольноопределяющегося Забелина, с которым были знакомы еще со студенчества и с которым вместе отправились на дальневосточный фронт, Гиацинтов знал хорошо... И еще эта фраза, «что между вами встала женщина...» Ее мог в запале выкрикнуть только Забелин, она никак не могла быть известной поручику. Выходит, что Речицкий говорит правду? А он, Гиацинтов, все это время напрасно лелеял и взращивал свою злобу? И еще Федор... Ему Гиацинтов верил, как самому себе, и ни капли не сомневался в том, что чистое и безгрешное сердце тунгуса не обманывает. Но оставалось ощущение чего-то не до конца ясного и уверенного, топорщилось и противилось смутное, неосознанное чувство, как бывало на войне, когда возникала посреди тишины и покоя ничем, казалось бы, не оправданная тревога, грызла неотступно, а позже, когда рушились внезапно тишина и покой, оказывалось, что тревога эта возникла совсем не напрасно.

Стоял Гиацинтов над столом, уперев кулаки в столешницу, молчал и не знал, что сказать. Не мог он сразу признать свою неправоту, не мог с миром отпустить Речицкого – слишком все просто и примитивно получалось, как будто лопнул мыльный пузырь.

– Да вы не мучайтесь, Владимир Игнатьевич, – словно прочитав его мысли, Речицкий пришел на помощь, – даже если вы мне поверите, это ровным счетом ничего не изменит. Вашу записку, в которой вы назвали меня подлецом и трусом, прочитала моя жена и ужаснулась. А слово «честь» для меня не пустой звук. Мы все равно будем стреляться. Я жду вас внизу.

Он четко повернулся, будто на строевых занятиях на плацу, направился к выходу из номера и уже протянул левую руку, чтобы открыть дверь, как дверь перед ним неожиданно распахнулась и на пороге появился растрепанный и тяжело дышавший Москвин-Волгин. Быстрым, веселым взглядом окинул Речицкого, Гиацинтова и облегченно выдохнул:

– Вот и славно, что все в наличии и в полном сборе. Я вам, господа, доставил срочную телеграмму, – из оттопыренного нагрудного кармана пиджака он ловко выдернул телеграфный бланк, развернул его и близоруко поднес к глазам: – Разрешите зачитать... Итак, дословно: «ВЛАДИМИРУ ГИАЦИНТОВУ ВЯЧЕСЛАВУ РЕЧИЦКОМУ ПРИКАЗЫВАЮ ГЛУПУЮ ДУЭЛЬ ОТСТАВИТЬ ЖДУ МОСКВЕ ЕСТЬ ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ПОЛКОВНИК АБРОСИМОВ».

Прочитав, Москвин-Волгин осторожно положил телеграфный бланк на стол, разгладил его двумя ладонями и радушно пригласил:

– Можете подойти и убедиться в подлинности.

Глава вторая

1

Снег, выпавший накануне Покрова, не таял, и ясно было, что лег он накрепко – на всю долгую зиму. Два дня стоял легкий морозец, а после него, будто передохнув, со щедрого неба снова повалил снегопад. Коней запрягали в сани и на санях подвозили хлебные снопы на молотьбу; в избах наводили чистоту, вставляли вторые рамы, а кто не успел посуху, срочно засыпали завалинки и затыкали отдушины – до тепла теперь далеко и надо было готовиться к морозам. Рубили капусту, и ребяташки весело грызли сахарные кочерыжки, которые казались слаще пряников.

Но все эти труды, по завершению летней и осенней страды, были легкими, исполнялись играючи, без надсады, и даже сама жизнь в деревне, казалось, замедлилась, неторопливо затекая в новое русло.

Над избами, где готовились к свадьбам, по-особому ядрено и густо поднимался бражный дух – варили домашнее пиво. Дух этот смешивался с тошнотным запахом паленого пера, потому что в это же время обычно забивали гусей, ощипывали их и пламенем от сосновых лучин опаливали крупные тяжелые тушки. Иные из хозяев уже рушили скотину, и на заборах висели, вывернутые наизнанку, бычьи шкуры. Над шкурами, выклеывая мездру, порхали зеленокрылые синички, которых в Покровке называли мясниками. За день успевали они выклевывать шкуры дочиста.

И все это совершалось, в полном безветрии, под тихо плывущим снегом, когда невозможно было понять, откуда он плывет – то ли с небес на землю, то с земли в небеса.

Вот и Матвей Петрович, вышагнув из часовенки, куда он все-таки добрался, когда отпустила спина, остановился и замер, забыв прикрыть за собой тяжелую дверь. Снег перед ним стоял стеной – без просвета. И не виделось через его плотную завесу ни одного дома, ни одной крыши – будто вся округа спряталась. Но Матвей Петрович и через белую стену угадывал все улицы Покровки, каждый дом в отдельности – он ведь помнил, как эти дома строились, как на месте избышек поднимались крепкие тесовые крыши, осеняя просторные пятистенки, срубленные из толстого кругляка, срубленные прочно и надолго.

Лежала перед ним деревня, которую он сам родил и которую вынянчил, словно маленького ребеночка, поставил на ноги и теперь любит ее, довольно покряхтывая, – экая красавица вызрела!

По-особому виделись ему дома, которые он ставил когда-то своим сыновьям, а те, в свою очередь, своим, внукам Матвея Петровича, и разрасталось черепановское дерево, выпуская в мир все новые и новые ветки, обильно покрываясь пышной кроной – ровным счетом пятьдесят душ было на нынешний день в большой родове, прочно спаянной под строгим присмотром. Есть чему порадоваться на старости лет...

И вот так, в добром настроении и в добром здравии, после долгой и душевной молитвы, Матвей Петрович спустился с пригорка, оставив за спиной часовенку, дошел до сыновьего дома, поднялся на крыльцо и, уже раздеваясь у порога, услышал громкий, как всегда торопливый и заполошный, голос снохи Анфисы:

– Он откуда здесь взялся?! Это ему краля подарила?! Да Дашке ни в жизнь такую тонкую работу не осилить! Это ведь он, паршивец, не иначе на подарок купил, такие деньги выкинул! Ты погляди, Василий, погляди, чего твой племянничек вытворяет!

Василий Матвеевич в ответ своей супруге что-то неразборчиво бормотал, но Матвей Петрович не расслышал, да и не любопытно было ему – о чем там голосит Анфиса... Мало

ли какая блажь втемяшится в голову глупой бабе?! Разделся, легкие катанки снял, поставил на приступок у печки для просушки и, оставшись в одних белых вязаных носках, вошел в горницу. Вошел и будто запнулся о высокий, невидимый порог – ноги сами собой дрогнули и остановились, когда увидел в руках у снохи длинный белый шарф, сотканный из тонкой ажурной материи. Он лежал, в несколько раз сложенный, на крупных ладонях Анфисы, и концы его чуть заметно шевелились, словно дул на них легкий ветерок.

– Вот, тятя, погляди, какое приданое у твоего внука валяется! – Анфиса вытянула руки и поднесла шарф под самый нос Матвею Петровичу, будто хотела, чтобы он его понюхал. – Стала сегодня прибираться, подушку подняла, а там...

И все совала, совала шарф тестю, а он перед снохой отступал, не говоря ни слова, и его большая, на всю грудь, седая борода вздрагивала, будто противилась подношению и не хотела его принимать.

До самого порога допятился Матвей Петрович, уперся спиной в косяк и кашлянул надсадно, будто прочищая горло, а затем тихо, шепотом, спросил:

– Откуда он здесь?

– У внука спроси, тятя, откуда он его раздобыл. Мне он не докладывался...

Матвей Петрович, ни слова больше не говоря, осторожно, даже боязливо, взял шарф, скомкав его в ладони, и мотнул головой, показывая, чтобы Василий и Анфиса вышли из горницы.

Они его без слов понимали. Послушно исчезли, а Матвей Петрович, поднеся шарф к самым глазам, вспомнил недавний сон, приснившийся ему накоротке утром, и подумал: «Это что же, сон-то, выходит, в руку?!»

И замер, продолжая сжимать в ладони тонкий, нежный шарф.

Долго стоял, не шевелясь, будто приклеился вязаными носками к половице. А затем, словно очнувшись, быстро вышел из горницы, позвал Анфису и приказал ей срочно разыскать Гриню:

– Чтобы в сию минуту здесь был!

А сам торопливо начал одеваться и обувать валенки. Но все у него шло вразлад: то рука не лезла в рукав полушубка, то ронял на пол шапку, поднимал ее и снова ронял – на самого себя непохож был Матвей Петрович, всегда степенный во всех движениях. А тут будто на глазах переродился. Суетился, шумно сопел, что-то шептал беззвучно, шевеля губами, и виделся в своей растерянности и в неловкости глубоким, беспомощным стариком. Василий Матвеевич печально глядел на него, но помогать не кинулся, потому что распрекрасно знал отцовский характер: пока сам не позовет, лучше не лезть, иначе и грозный окрик схлопочешь.

Наконец-то Матвей Петрович снарядился. Нахлобучил шапку и выбрался на крыльцо, не застегнув полушубка.

А в ограду уже вбегал, широко раскидывая длинные ноги, Гриня, и глаза его горели готовностью выполнить любое указание. Скрыть свой неудачный поход в Пашенный выселок ему не удалось, добрую выволочку от деда он все-таки получил и чувал теперь, что сердить его лишний раз совсем не следует.

Матвей Петрович, не глядя на него, сердито буркнул:

– Кошевку запрягай.

Метнулся Гриня к конюшне и мигом запряг коня в кошевку, подкатил ее прямо к дедовым ногам. Матвей Петрович уселся, перенял вожжи у внука и еще раз коротко буркнул:

– Со мной поедешь.

Гриня послушно пристроился в задке кошевки и притих. Разбирало его, конечно, любопытство – куда они в такой спешке отправляются, по какой надобности? Но видя, что дед

не в себе, вопросами его не тревожил, здраво рассудив, что лучше подождать – само по себе выяснится.

Между тем Матвей Петрович, уверенно правя конем, направлял его по тому же самому пути, по которому несколько дней назад проехал Гриня: через поляну за деревней, через поле и дальше – прямо в сосновый бор, а там, нигде не сбившись, поднялся на верхушку увала. Остановил коня, привязал вожжи к передку кошевки и осторожно, чтобы не запнуться, вышагнул на снег, который чуть слышно хрустнул под его валенками. Гриня выскочил следом, встал у него за правым плечом и переминался с ноги на ногу, по-прежнему не решаясь спросить – зачем они сюда приехали? Долго стоял Матвей Петрович, смотрел на высокие сосны, украшенные нападавшим накануне снегом, о чем-то думал и будто забыл о том, что приехал сюда не один. Гриня уже заскучал, переминаясь рядом, но продолжал безропотно тянуть лямку послушного внука. Поэтому и вздрогнул от неожиданности, когда дед выдернул из-за пазухи белый шарф, вскинул его в крепко зажатой ладони над головой и грозно крикнул:

– Где он висел, на какой сосне?!

Запираться и отнекиваться, мол, я не я и тряпка не моя, Гриня не стал, чего уж тут юлить, от деда все равно ничего не скроешь. Поднял руку, показал на сосну, на нижней ветке которой он обнаружил несколько дней назад неожиданную находку.

– Повесь на место, – приказал Матвей Петрович и передал ему шарф.

Гриня стянул рукавицу, ощутил пальцами легкую, скользкую ткань и пошел, почему-то спотыкаясь на ровном, к сосне. Перекинул шарф через нижний сук, завязал на легкий узел, чтобы не соскользнул он на землю, и, спотыкаясь по-прежнему, вернулся к кошевке, растерянный донельзя: как же так получилось-то, как догадался дед, что шарф нашелся именно на увале?!

А Матвей Петрович, не давая времени на раздумья, сурово потребовал:

– Рассказывай, как было. Все рассказывай...

И пришлось Грине вспомнить ночь, когда били его пашенские парни, вспомнить коня, белого от макушек ушей до копыт, его быстрый, беззвучный ход, девушку, которая сидела на этом коне, рассыпая звонкий смех; вспомнил, как наутро он приехал на этот увал и увидел висящий на сосне шарф. Ничего не утаил, все выложил как на духу, даже доверился и рассказал, что все эти дни, пока у него шарф находился, его неудержимо тянуло сюда, на увал, будто кто в спину подталкивал – ступай, ступай... Но он желание это пересилил, не поехал. И любопытно ему было теперь до крайности – что же такое перед его глазами приключилось? Наяву было или поблазнилось? Если поблазнилось, откуда шарф появился?

Матвей Петрович не ответил. Молча забрался в кошевку, уселся, показал Грине на привязанные к передку вожжи и лишь после этого нехотя обронил:

– Поехали.

До самого дома он молчал, а дома, уже в ограде, сказал:

– Ты, Гриня, помалкивай, никому ни слова... На увал больше – ни ногой. После я тебе все растолкую.

2

Во второй половине дня Варя возвращалась после уроков из школы и всякий раз останавливалась перед черепановским домом, чтобы полюбоваться на изумительной красоты деревянную резьбу, украшавшую карниз, перила крыльца и наличники окон. Глядя на эту красоту, хотелось запеть. И всякий раз, замирая перед домом, Варя недоумевала: неужели это нежное чудо мог сотворить Василий Матвеевич, грубоватый на вид и на слово, с коря-

выми и широкими руками, в которых даже тяжелый колун казался игрушечным. А здесь такая филигранная работа...

Поначалу она даже ахала и всплескивала ладошками:

– Анфиса Ивановна, неужели это все Василий Матвеевич один сделал?!

– Ну а кто еще-то? Таких, как он, мешком стукнутых, поискать надо! Глянешь иной раз – куда с утра уперся? В бор поехал! Притащит лесину, на доски распилит и всю зиму над этими досками горбатится, узоры вырезает. Я поначалу-то, когда молодая была, тятя жаловалась, думала, остепенит он Василия, да только жалоба моя ко мне же и прилетела. Так тятя сказал: ладно, говорит, Анфиса, наставлю я сына на правильный путь, посоветую ему водку трескать и тебя каждый день лупить, пока не поумнеешь. Больше я и не привязывалась, пускай строгают, если ему в удовольствие, убытка-то хозяйству никакого нет.

– Но ведь это такая красота!

– Красота-то красота, девонька, да только мне любоваться некогда.

И это было сущей правдой. Времени, чтобы любоваться, Анфисе никогда не хватало – пятеро ребятишек, шесть коров, четыре коня, а еще гуси, куры, овечки, свиньи с поросятами и большущий огород. Вот и крутись, как колесо на водяной мельнице. Когда ребятишки выросли, обзавелись своими семьями и домами, дел у Анфисы все равно не убавилось, а тут еще свекор с племянником на житье перешли, их кормить-обстирывать надо – крутись, любезная, по-прежнему.

К новой постоялице в доме Анфиса отнеслась, как к родной дочери, – тепло и душевно. И хотя громко голосила по любому поводу и даже строжила над ней, Варя нисколько не обижалась, потому что чувствовала – сердце у Анфисы доброе и незлобивое.

Вот и сейчас сразу заторопилась в дом, услышав с резного крыльца крик:

– Ну, и долго ты ворон считать будешь?! У меня самовар стынет!

За чаем, подкладывая Варе большие ломти пышной шаньги и ближе подвигая тарелку с творогом и со сметаной, Анфиса рассказывала:

– Василий Матвеевич-то с Гриней за сеном поехали, за Обь, и тятя с ними отправился, не утерпел. Теперь вот переживаю, лед-то еще не шибко крепкий, как бы беды не случилось... А ты чего не ешь? Клюешь, как синичка! Ты крепче, крепче кушай, а то худая, как соломина, дунет падера, и унесет тебя за деревню – где искать станем?

Собственная шутка Анфисе очень понравилась, и она рассмеялась долгим, дробным смешком. И вдруг осеклась, прислушиваясь:

– Никак калитка стукнула... Каки-то гости к нам пожаловали...

Не поленилась, поднялась из-за стола и выглянула в окно, чуть приоткрыв занавеску. Да так и замерла, забыв ее опустить. Охнула от удивления и протяжно выговорила, словно пропела:

– Ну, лахудра бесстыжая! Идет и не запнется, чтоб тебе расшибиться! Средь бела дня прется!

Выговорив-пропев это, Анфиса проворно вернулась за стол, присела на лавку и, чинно сложив руки, снова замерла, поджав узкие губы и устремив взгляд в двери, которые распахнулись, и на пороге появилась Дарья Устрялова. Встала в дверном проеме, красивая, как картина в раме, и, отмахнув каштановую косу за спину, поздоровалась:

– Добрый день, добрые люди! Хлеб да соль вам!

Анфиса кивнула в ответ, но узких губ не разомкнула. Варя отозвалась негромким голоском:

– Здравствуйте.

– Тетя Анфиса, не выручишь нас? Приехали с тятей в гости к нашим, а у них соль кончилась, не одолжите горсточку?

И смотрела, улыбаясь, будто не замечая неприветливого вида хозяйки, светилась, радостная, словно не соли пришла одалживать, а принесла счастливое известие, за которое ожидала благодарных слов.

Но таковых не дождалась.

Молча поднялась Анфиса из-за стола, молча открыла дверцу навесного шкафчика и достала оттуда деревянный туесок, украшенный причудливой резьбой, в котором хранилась соль. Расстелила на столе чистую тряпочку, наклонила туесок, чтобы насыпать соли, и вдруг туесок, без всякой видимой причины, выскользнул у нее из рук, прокатился по столу, оставляя за собой кривую белую полоску, и с громким стуком упал на пол. Варя от неожиданности даже вздрогнула. Анфиса же, наоборот, не охнула, руками не всплеснула, стояла будто окаменелая, смотрела на опрокинутый туесок, на рассыпанную соль, и лицо у нее становилось обиженным, словно собиралась от огорчения заплакать. Но нет – плакать она не собиралась. Руки в бока уперла, двинулась грудью на Дарью и разомкнула, наконец-то, крепко сжатые, узкие губы:

– За солью, говоришь, пожаловала?! А не за Гриней ли ты сюда заявила, бесстыжая?! И как только твои шары от стыда не лопнут! Заманила парня, голову ему закружила, под кулаки поставила, а теперь, когда он на тебя плюнул, бегаешь за ним, как собачонка, вынюхиваешь, где он пребывает! Хоть покраснела бы для приличия!

Дарья вспыхнула маковым цветом, но совсем не от смущения, а по причине отчаянной решимости. Зазвенел высокий голос:

– А хоть бы и так! Мой он, владела им и владеть буду! Захочу – без соли съем! Так ему и передайте, как я сказала!

Толкнулась спиной в двери, выскочила в сени и просквозила на улицу, оставив за собой калитку распахнутой настежь. Не слышала, что ей вслед сердито выговаривала Анфиса, да и слышать не желала. Хрустела валенками по мерзлому снегу, торопилась, срываясь на бег, и жарко, отрывисто от сбившегося дыхания, шептала:

– Мой ты, Гриня, мой будешь! Зубами ухвачусь, а не отпущу!

Трепетала гордая душа, не желала смириться. Да и как она могла смириться, если недавно еще люто завидовали Дарье все пашенские девки: такой парень красивый и жених завидный, да из семьи не бедной, вьется вокруг, готовый, кажется, ноги мыть и воду пить, а она красуется и морщится, будто королева заморская. Да окажись на ее месте любая девка пашенская, да помани ее Гриня хоть пальчиком, побежала бы без оглядки, только подол бы у юбки вился... И таяла от удовольствия Дарья, догадываясь о затаенных мыслях своих подружек, в радость ей было, что она не такая, как иные, а особенная. И вдруг ахнулось все, как в яму глубокую, даже не булькнуло. Не появлялся Гриня на вечерках в Пашенском выселке после памятного вечера и драки с парнями, не искал встреч, когда Дарья вот уже в третий раз приезжала в Покровку. Если бы парней пашенских испугался, было бы понятно, да только не боялся он их, уже двоих подкараулил поодиночке и обоим носы распечатал. Нет, не тот человек Гриня и не тот нрав у него, чтобы испугаться, другая причина отвернула его от Дарьи.

Какая?

Вот и хотела узнать и выяснить, вот и направилась прямо в дом к Черепановым, надеясь увидеть там Гриню и услышать от него хоть какое-нибудь слово, да не вышло, как хотелось, – не увидела и не услышала, а только наслушалась обидной ругани от Анфисы. Впрочем, на ругань, которой поливала ее Анфиса, плевала бы она с приступочки – пускай гавкает, ветер унесет; совсем другое корежило – неизвестность. Не знала Дарья истинной причины Грининой остуды и потому не могла придумать способа, чтобы заново, на короткий поводок, привязать его к себе, так привязать, чтобы и пикнуть не посмел.

«С теткой надо поговорить, заделье придумать, чтобы ей помочь, тогда и у тяти отпрошусь, останусь еще на день-другой, вот и посмотрим, где ты, Гриня, суженый мой, ряженный, прятаться от меня изволишь...» Придумав это, совсем неожиданно для самой себя, Дарья даже остановилась, перевела дух, выпрямилась, расправив плечи, перебросила косу на высокую грудь и дальше поплыла по улице, как лебедь по озеру.

3

Гриня в это время, ни о чем не догадываясь, переметывал на сани второй стог и так скоро и ловко кидал плотные пласты пахучего сена, что Василий Матвеевич, не успевая управляться на возу, незлобиво прикрикнул:

– Ты, парень, утихомирься, а то завалишь меня по самую макушку!

Пожалуй, и верно. Можно передохнуть, пока дядька совсем не запалился, принимая и утаптывая тяжелые пласты. Гриня воткнул вилы в сено, оперся грудью на черенок и стащил шапку, подставляя потную голову под легкий морозный ветерок. Над головой у него поднялось белесое облачко. Оглянулся назад, отыскивая взглядом деда, и увидел, что тот, оставляя за собой глубокие следы, бредет по снегу на край луга, к старым высоким тополям, которые ярко врезались темными макушками в чистое, синее небо.

«Это куда его нелегкая понесла?» – подумал Гриня и хотел даже окликнуть деда, но Василий Матвеевич, успев притоптать сено на возу, скомандовал:

– Наваливай, племянничек! Обед скоро, пора щи хлебать!

Скорее так скорее, да и в пустом животе уже булькало, с утра ведь не ели. Гриня поднатужился, выворотил из-под ног едва ли половину оставшегося стога, перевалил его на воз и накрыл Василия Матвеевича с головой. Тот глухо ругался, раскладывая сено, но управился быстро, и вот они уже затянули бастрык⁹, подскребли вилами одонья, и все четыре воза готовы были стронуться с места, чтобы потянуться неторопливо в сторону деревни.

Но стронуться пока не могли – Матвея Петровича требовалось дожидаться. А он уже из глаз пропал, ушел куда-то за тополя, и на снегу были видны только глубокие следы. Тогда стали кричать, звать его, но Матвей Петрович не отзывался.

Да куда же он убрел-то?!

Гриня покричал еще, покричал и, не дождавшись ответа, пошел по дедовым следам. Добрался до тополей и увидел, что следы, круто завернув влево, спускаются вниз, к маленькому луговому озерку, которое ошетинилось по берегам густым, серым камышом. Прямо в этот камыш и уходили следы.

«Чего он там позабыл?» – Гриня, удивляясь все больше, начинал тревожиться и убыстрял шаги, почти бежал, благо что снег лежал неглубокий. Проскочил через камыш, увидел на озерке пятachок чистого льда, не замеченного снегом, и хотел уже выскочить и лихо прокатиться по нему, как вдруг опешил и замер на месте. А затем, сам не зная почему, отшагнул назад, в камыш, и присел, скрываясь за сухими стеблями, обметанными густым инеем.

Смотрел, широко распахнув глаза, и глазам своим не верил.

На краю ледяного пятачка, чисто выметенного ветром, стоял Матвей Петрович, низко опустив голову, будто нашкодивший парнишка, а перед ним возвышалась женщина, одетая в легкое белое платье. Длинные седые волосы опускались ниже плеч и сливались с этим платьем. В руке она держала повод, а за спиной у нее, вздергивая головой, будто пытаясь этот повод вырвать, гарцевал белый конь, белый от копыт до макушек ушей. Тот самый, который беззвучно скакал в памятную ночь. Но тогда на нем была девушка, а теперь почти старуха – седая, и лицо у нее в морщинах, темное, будто подкопченное смолевым дымом. Она что-то

⁹ Бастрык – толстая жердь, которую клали сверху на сено и притягивали веревками, чтобы воз не развалился.

медленно говорила, а Матвей Петрович, не поднимая головы, слушал и ничего не отвечал. Только слушал. Что она говорила, Гриня не понял, лишь различил необычный голос, напоминавший негромкое, протяжное пение. Напрягался изо всех сил, пытаясь понять, глядел во все глаза, по-прежнему оставаясь в своем укрытии, и в этот раз уже не испытывал ни страха, ни удивления. Ясная и четкая, явилась к нему догадка: нет, ничего ему той ночью не поблазнилось, все наяву было, как и шарф на бугре, который он привязал к сосне. И еще понимал Гриня, что дед все знает: и про этого коня, и про девушку, и про старуху, перед которой стоит сейчас так почтительно.

Тогда почему он Грине до сих пор ничего не сказал, если знает?

Женщина между тем говорить перестала, отступила на шаг и низко поклонилась, а выпрямившись, сразу же повернулась и пошла медленным шагом, не выпуская повод из руки. Конь послушно следовал за ней, встряхивал гривой, и шаг у него был короткий, редкий, будто он подлаживался под медленное движение женщины. Следов за ними не оставалось, и снег лежал нетронутым.

Матвей Петрович, продолжая стоять на прежнем месте, смотрел им вслед до тех пор, пока они не скрылись за молодым ветельником. И лишь после этого, когда белый конь и седая женщина исчезли из глаз, словно растворились в просветах между ветками, обвислыми под снегом, он сдвинулся со своего места и пошел по собственным старым следам, не оглядываясь и горбясь.

Гриня окликать его не стал. Посидел еще, притаившись в камыше, выждал время, чтобы дед его не увидел, а затем быстро, напрямик, добежал до саней, где Василий Матвеевич уже притомился ждать и встретил его сердитым вопросом:

– Вы где оба потерялись? Деда нашел?

– Да вон идет, следом, – Гриня перевел дух, обошел возы, подтыкивая сено, оглянулся – дед был уже совсем рядом. Спокойный, неторопливый, будто ничего и не случилось на маленьком луговом озере. Глянул на возы, легко взмахнул рукой:

– Трогайте.

– Может, на возу поедешь? – предложил Василий Матвеевич, – чего ноги бить?

– Пожалуй, и поеду. Пособите забраться.

Воткнули вилы в сено, Матвей Петрович, опираясь на них и цепляясь за бастрык, поднялся наверх, уселся и, ловко поймав подкиннутые вожжи, стронул коня с места.

Возы, оставляя за собой глубокий санный след, медленно и тяжело потянулись в сторону Оби.

Пока добрались до дома, пока перекидали сено, пока распрягли и напоили коней, короткий день покатился на убыль, и поэтому решили больше за Обь не ездить, хотя с утра собирались сделать две ходки. Матвей Петрович снял рукавицы, высморкался и вздохнул:

– Все, пошабашили. Ступайте обедать, я следом подойду.

Гриня послушно пошел к крыльцу, но вдруг, словно что-то вспомнив, вернулся и увидел, что дед, задумавшись, сидит на краешке саней, низко опустив голову, и рассеянно сбивает рукавицами снег с белых катанок. Гриня осторожно присел рядом, помолчал, набираясь решимости, и спросил:

– Дед, а там, на озере, ты с кем разговаривал?

Матвей Петрович долго не отвечал, продолжая шлепать рукавицами по катанкам, а затем, как будто и не слышал, о чем его спрашивает внук, тихо заговорил:

– Мудро сказано – нет ничего тайного, что не стало бы явным. Нет такого секрета, который похоронить можно, хоть на три ряда его закопай, все равно кончик наружу высунется. Такие вот дела, Григорий. Говорил я тебе и еще раз скажу: придет время – все узнаешь. Все тебе поведаю, ничего не утаю. А пока помалкивай и с расспросами ко мне не лезь. На будущей неделе я тебя в город отправлю, и пока там одно дельце не сделаешь, домой не вертайся.

– Какое дельце, дед?

– Заковыристое. Но парень ты у нас бойкий, шустрый – осилишь. А теперь пошли в дом, обедать пора.

Отобедали чинно, молча. Но, когда принялись за чай, Анфиса, не в силах сдержать в себе распирающую ее новость, принялась в подробностях рассказывать о том, что пришла Дарья Устрялова и что наговорила она дерзостных слов целый короб и, похваляясь, грозила, что Гриню без соли съест, потому что имеет над ним власть, какой ни один человек не имеет... И много еще чего наговорила, оказывается, Дарья в пересказе Анфисы и могла бы еще больше наговорить, да только Матвей Петрович стукнул по столу ладонью и прикрикнул:

– Не таракти! Дай спокойно чаю попить!

И в наступившей тишине громко швыркал, схлебывая чай с блюдца и прижмуривая глаза от удовольствия, будто новость, которую сообщила Анфиса, пролетела мимо его ушей.

4

Но не пролетела эта новость мимо ушей Грини.

Вечером, обрядившись в алую рубаху, подпоясавшись зеленым пояском, торопливо накинув полушубок и насунув на голову шапку, он незаметно выскользнул из дома и зачастил скорым шагом в самый дальний конец улицы, где стоял, последним в правом ряду, большой дом – там жила тетка Дарьи Устряловой. Возле дома, замедлив ход, Гриня успел заглянуть в ограду и увидел, что саней в ограде нет. А это значит, что родитель Дарьи отъехал домой. А сама Дарья отъехала или осталась?

Все эти дни, минувшие с памятной вечерки в Пашенном выселке, он почти не вспоминал о Дарье, а если и вспоминал, то мимоходом, скользом, потому что стояло перед глазами, не исчезая, видение девушки на белом коне. Было оно таким ярким и четким, будто наяву. И все эти дни, даже после того, как побывали они с дедом на увале, где пришлось оставить шарф, привязав его к сосне, даже после этого видение не исчезло. И лишь сегодня, после рассказа Анфисы, словно костерок, притухший на время, запылало, как от порыва ветра, жаркое желание – до зла горя захотелось увидеть Дарью. Будто на невидимой веревочке привели его к крайнему дому, возле которого он и топтался сейчас, прохаживаясь то в одну, то в другую сторону, выбирая путь поближе к заплоту, чтобы могли его увидеть из окна.

Увидели.

Глухо состукали двери, скрипнули за глухими тесовыми воротами скорые шаги, открылась калитка, и Дарья, даже не успев застегнуть пуговицы на шубейке, выскочила на улицу и остановилась, замерла, словно пристыла к утоптанному снегу. А после неторопливо застегнула шубейку, поправила полушало и, перекинув косу на грудь, приблизилась к Грине замедленной, плывущей походкой и чуть заметно склонила гордо посаженную голову:

– Добрый вам день, Григорий Иванович. Какими ветрами в наши края занесло?

– Да никакими, шел мимо, дай, думаю, загляну.

– В прошлый раз сказать чего-то хотел, да не получилось... Чего сказать-то хотел, Гриня?

– Да я теперь уж и забыл. – Гриня нагло смотрел на Дарью, но не в лицо ей смотрел, а на шубейку, в том месте, где она круто оттопыривалась высокой грудью. – Пойдем куда-нибудь, чего мы тут стоим, посреди улицы.

– И все ты, Гриня, за собой куда-то тянешь. То на улицу выйди, то с улицы уйди... – Дарья смотрела на него, чуть прищутив глаза, и улыбалась, будто знала что-то такое, о чем никто даже и не догадывался. – Видно, сказать чего-то хочешь, а не говоришь. Ты уж скажи, Гриня, что у тебя на душе лежит, чтобы знала я, чего от меня хочешь...

– Да ничего не хочу, так...

– Как? – Дарья продолжала улыбаться, чуть приподнимая брови, словно удивлялась, что Гриня не может найти нужных слов.

А он и в самом деле не знал – какие ему слова следует говорить? Не будешь ведь рассказывать о том, что одолевает его сейчас одно-единственное желание – увести Дарью в какое-нибудь укромное местечко и расстегнуть ее шубейку, а там, если повезет, и до кофточки добраться...

Гриня вскинул голову, увидел морозный закат, который уже затухал, уступая место сизым сумеркам, наползающим на деревню, и неожиданно сообщил:

– Стемнеет скоро.

– Ты к чему это говоришь, Гриня? Сказать больше нечего? – Дарья улыбалась по-прежнему, и не требовалось большого ума, чтобы догадаться – смеется красавица над парнем, водит его вокруг себя, как привязанного, и получает от этого большущее удовольствие.

Гриня об этом догадывался, но схитрил, не подавая вида, и выговорил твердо, взгляда не отрывая от шубейки:

– Да есть чего мне сказать, Дарья. Много сказать хочу. Только не здесь, пойдем...

– Куда?

– А я покажу!

И первым, не дожидаясь согласия Дарьи, пошел в конец улицы, где пустовал на отшибе старенький амбар. Раньше хранили в нем общественный запас зерна на случай неурожая или пожара, но после того как построили новый амбар, этот забросили, и стоял он теперь, дожидаясь, когда разберут его на дрова.

К этому амбару и шел Гриня, не оглядываясь, но чутко прислушиваясь – поскрипывают ли за ним шаги Дарьи по снегу?

Поскрипывали...

Остановился возле подгнившего порожка, замер, набычив голову, как перед дракой, и резко обернулся. Молча ухватил Дарью за рукава шубейки и вдернул следом за собой в амбар, притиснул к стене, вздрагивающими руками принялся нашаривать большие костяные пуговицы. Дарья даже не охнула, только ярко, как у кошки, вспыхивали в потемках широко распахнутые глаза.

Стояла она безвольно, ослабнув телом, вся – податливая, и молчала, словно лишилась голоса. Вдруг вскинула руки, сомкнула их в тесное кольцо на шее Грини, и приникла к нему так близко, что он ощутил, как вздрагивают у нее колени.

Сникла гордая и норовистая красавица, и волен был сейчас Гриня делать с ней все, что угодно. Он распахнул, наконец-то, шубейку, сунул руки в тепло девичьего тела и отдернул их, будто обжегся, – увидел в проеме обвислой двери старого амбара, в сумерках, белого коня. Тот шел неторопливой и легкой рысью совсем недалеко. Юная всадница на коне в этот раз не смеялась, она лишь зазывно взмахивала рукой, словно приглашала последовать за собой.

Гриня вылетел из амбара, как пуля, бросился вслед за белым конем и за белой всадницей, летел, отмахивая молодыми ногами огромные скачки, но напрасно – не догнал. И долго стоял в чистом поле, не ощущая самого себя, словно все еще бежал, задыхаясь, хотя не было видно ни коня, ни всадницы.

Окольным путем, чтобы не пересечься с Дарьей, вернулся Гриня домой и, отказавшись от ужина, собрался спать. Но его призвал к себе в горницу Матвей Петрович и сурово извещал:

– К Дашке больше не вяжись, с гонором девка, не будет с нее толку. Сядет на шею – хуже хомута, в кровь изотрет. А в Никольск послезавтра отправишься, пока морозы не стукнули и дороги не перемело. Теперь слушай, чего тебе сделать там надобно...

5

Следующий день прошел в сборах.

Попутно, чтобы порожняком туда-сюда не гонять, в сани уложили мерзлые овечьи шкуры, которые Гриня должен был доставить в Никольске скорняку, у которого и фамилия была самая что ни на есть подходящая – Скорняков. С ним у Матвея Петровича имелся давний договор, обоюдно выгодный для каждой стороны: одному шкуры нужны для его изделий, а другому деньги не помешают.

И никто из домашних, кроме Грини и Матвея Петровича, даже не догадывался, что в нынешнем году доставка шкур для скорняка лишь предлог для более важного и скрытного дела.

Вечером хорошенько накормили коня на дальнюю дорогу, а утром, еще потемну, Гриня выехал из ограды и, ловко устроившись на мягком сене в передке розвальней, запрокинул голову и стал смотреть в небо, на котором начинали блекнуть перед рассветом крупные звезды. Под полозьями и под конскими копытами сухо поскрипывал снег, шуршало пахучее на морозе сено, отдалялся и затихал, оставаясь за спиной, редкий собачий лай.

Хорошо было ехать, в полное свое удовольствие – сам себе хозяин и никто над душой не стоит.

И думалось тоже складно и вольно.

Сначала он думал про Дарью, которая раньше не давала ему покоя и даже по ночам являлась в жарких, порою таких стыдных снах, что о них и рассказать никому нельзя; и чем яростней он желал быть с ней рядом, тем обидней она над ним подсмеивалась, а позавчера, будто переродившись, послушно пошла за ним к амбару, таяла в его руках, как восковая свечка тает от огонька. И случилось бы наверняка самое тайное и желанное, если бы не появился белый конь со своей всадницей. И теперь еще стоят они перед глазами, а в воздухе, извиваясь, струится белый шарф, тот самый, который он своими руками привязал к сосне на дальнем увале...

И не было у него сейчас никакого иного желания, кроме одного – снова увидеть девушку на коне и последовать за ней в любую сторону. А Дарья... С Дарьей странная штука, будто на костер, еще вчера полыхавший, ведро воды опрокинули. Он и потух разом. Угли и те не шают. Чудно!

Дальше Гриня думал про город, в котором очень любил бывать. И с плотами туда сплавлялся не раз, и по зиме ездил, и всегда с любопытством вглядывался в городскую жизнь – шумную, бойкую, пеструю. Все там шевелилось, кипело, бурлило, и хотелось с головой нырнуть в эту жизнь, такую манящую и веселую.

И лишь об одном не думал Гриня – о том деле, которое поручил ему дед. Не думал по той простой причине, что не знал, как его исполнить. Дед лишь сказал, как всегда, немногословно – изворачивайся, как можешь, а дело сделай. А как извернуться – не посоветовал. Но Гриня ни капли не горевал: чего, спрашивается, раньше времени голову забивать лишними переживаниями, вот приедет в город, оглядится, тогда само придумается. У него всегда так бывало – как до края доберется, так сразу и умная догадка осенит. Уверен был, что и в этот раз осечки не случится. Все он сделает легко и играючи.

Утренние сумерки между тем проредились до светлой голубизны, обозначилась по правую руку длинная полоса студеной зари, морозец покрепчал, и снег под копытами и под полозьями зазвучал громче.

Новый день начинался.

Скоро Гриня выбрался на прямоезжий тракт, ведущий до Никольска, и здесь уже раздумывать стало некогда. Не зевай, гляди во все гляделки, иначе зацепится дурной лихач за

розвальни – беды не оберешься. Особо рьяные удалыцы летели на своих тройках по тракту столь стремительно, будто их из тугого лука выстрелили.

Но все обошлось, никакой оплошности не случилось, к вечеру Гриня добрался до постоянного двора, переночевал, а на следующий день, после обеда, был уже в Никольске.

Большой двухэтажный дом Скорнякова стоял недалеко от железнодорожной станции, и когда Гриня подъехал к высоким глухим воротам, донесся длинный, протяжный паровозный гудок – будто оповестили, что гость пожаловал. Но ворота открывать не торопились. Гриня постучал раз, другой – никто ему навстречу не вышел. Тогда он толкнул узкую калитку с толстым железным кольцом, и она перед ним бесшумно и гостеприимно распахнулась. На просторном дворе, выложенном булыжником и старательно очищенном от снега, никого не было, лишь два растрепанных воробья суетливо прискакивали в дальнем углу, где росла высокая рябина, и клевали опавшие ягоды.

Гриня шагнул во двор, остановился и громко позвал:

– Хозяева!

Ему никто не отозвался. Тогда он прошел через двор, поднялся на высокое крыльцо и дернул за витую веревочку, на конце которой висел медный шарик, – знал, по прошлым приездам в город, что после этого должен зазвенеть звонок.

Но и после звонка никто не вышел и не подал голоса.

Гриня потоптался на крыльце, еще раз дернул за веревочку и едва успел отскочить в сторону – широкая, толстая дверь, украшенная снаружи коваными железными завитушками, отлетела настежь, грохнула о стенку сеней, будто из пушки пальнули, и вылетел из нее, перебирая ногами в воздухе, неведомый человек в длинном черном пальто. Полы этого пальто взметнулись, как крылья, и человек продолжил полет, минуя все ступеньки высокого крыльца. Рухнул прямо на булыжник и растянулся черной кляксой. «Убился!» – беззвучно ахнул Гриня. Но человек бойко вскочил и, прихрамывая, шустро кинулся к распахнутой калитке. Нырнул в нее и исчез.

И лишь после этого на крыльцо вышагнул сам хозяин – Скорняков. Был он высоченного роста, широк в плечах и необъятен во чреве – просторная рубаха, в которую можно было троих запихнуть, внатяг лежала на животе и едва не лопалась. Скорняков стукнул широчеными ладонями, одной о другую, будто невидимую пыль с них стряхивал, и сердитый, еще не остывший от злости взгляд узких татарских глаз уперся в Гриню. Кто таков?

– Я... – начал было Гриня, но Скорняков перебил его глухим нутряным басом, который поднимался, казалось, из самых глубин необъятного живота:

– Признал. Черепановский? Ступай калитку закрой.

Когда Гриня послушно выполнил приказание и вернулся на крыльцо, Скорняков молча провел его в дом, заставил раздеться и усадил за стол, заваленный бумагами и амбарными книгами. Раскрыл одну из них, обмакнул ручку в чернильницу и спросил:

– Сколько шкур привез?

– Ровным счетом сорок.

– Ишь ты! – хмыкнул Скорняков. – Ровным счетом! Пересчитаю. Распишись вот здесь... Как там Матвей Петрович поживает, чего на словах передать наказывал?

– Поклоны шлет, здравствовать желает. А еще просил приют дать, на время, в счет расплаты. Дело одно поручил мне в городе исполнить...

– Ладно, приют дам, без расплаты; у меня не постоянный двор, за так добрых людей пускаю. Посиди тут, обожди, работник придет, поедешь с ним в мастерские, там и приют тебе будет, и кормежка, и коня доглядят...

Не успел он договорить, как на пороге нарисовался работник – молодой, здоровенный парень, под стать самому Скорнякову – об лоб можно было поросят бить. Молча выслушал хозяина, молча кивнул и махнул могучей рукой, показывая Грине – ступай за мной.

Вышли на улицу, парень примостился сбоку на розвальни, сказал, куда ехать, и скоро они были уже в мастерских, где шкуры сложили в амбар, коня распрягли и поставили в конюшню. Самого Гриню парень определил в маленькую каморку с топчаном и с крохотным столиком возле узкого подслеповатого окошка. Хоромы, да и только.

– Располагайся пока, на ужин свистну. – Парень собирался уже уходить, но Гриня остановил его:

– Погоди, тебя как зовут-то?

– Савелием раньше кликали.

– А меня Гриней. Скажи, Савелий, кого это хозяин из дома так вышиб, что тот, бедолага, до самой калитки летел?

– Да... – Савелий поморщился. – Сын это евонный. В гимназистах был, а после в Москву отправили, дальше учиться. Вот и выучился... Никчемный человек. Но это у них дело семейное, и ты не любопытствуй, не вздумай у хозяина спрашивать, не любит он этого. Понятно?

Гриня развел руками – чего ж тут непонятного? И больше ни о чем Савелия не спрашивал. А после ужина сразу же лег спать и уснул, как пластом земли придавленный – ни одного сна не увидел.

6

Утро выдалось звонкое и веселое: легкий мороз прищелкнул, реденький-реденький снежок заскользил с неба. Все вокруг заиграло и заблестело, как яркая игрушка.

Гриня плотно позавтракал вместе со скорняковскими работниками, вышел за ворота мастерской, огляделся, сдвинул на затылок шапку, из-под которой буйно выбивался густой чуб, и весело присвистнул от хорошего настроения.

– Не свисти с утра, а то весь день просвистишь!

Оглянулся – Савелий, оказывается, следом за ним за ворота вышел. Расставил могучие ноги и потянулся, раскинув руки, так сладко, что слышно было, как под легкой шубейкой смачно хрустнули косточки. Круглое, сытое лицо его сияло довольством.

«Да, парень, не изработался ты здесь...» – невольно подумал про себя Гриня, а вслух сказал:

– Это в избе свистеть нельзя, а на улице – можно.

– Ну свисти, если глянется, – благодушно разрешил Савелий, – куда идти-то собрался?

– Надо мне попасть на Туруханскую улицу, а там номера имеются и магазин... Шик...

– Ши-и-к... – передразнил Савелий, – деревня ты, выговорить толком не умеешь! «Парижский шик» называется! Вот как! Я хозяина туда на прошлой неделе отвозил, он там меха на продажу сдает. Богатющий магазин! И чего ты покупать собрался?

– Дырку от бублика! – усмехнулся Гриня. – Мне в номерах людей разыскать, важное дело имеется...

– Тогда топай прямо, никуда не сворачивай, а как в пожарную каланчу упрешься, сразу бери направо, в переулок, пройдешь его, вот и Туруханская. Зеленую вывеску ищи. Магазин на первом этаже, а номера на втором, а заходить в номера надо со двора. Все запомнил, лапоть?

– Не дурней сопливых, – огрызнулся Гриня.

– Смотри у меня, не балуй, – Савелий еще раз потянулся, раскинув руки, – а то вечером вернешься, я тебе шею намылю.

– Свою побереги, – посоветовал Гриня и пошел, не оглядываясь, прямо.

Он нигде не заплутал, поспешая быстрым шагом, и скоро уже стоял перед двухэтажным каменным домом с множеством узких и высоких окон. Над парадным входом висела

большая зеленая вывеска, на которой золотом переливались под солнцем витиевато нарисованные буквы – «Парижский шик». А ниже, буквами поменьше, значилось: «Богатый выбор самых новых, изысканных моделей». Гриня поглазел на вывеску, даже в магазин хотел зайти, ради любопытства, но передумал. Обогнул дом и там, над крайним входом, увидел другую вывеску, не столь яркую и не столь большую, блеклую и обшарпанную, – «Меблированные номера Сигизмундова. Самовары бесплатно». Тяжелая дверь открылась беззвучно. Узкая, полутемная лестница вела на второй этаж. Еще одна дверь, и Гриня оказался в широком коридоре, где за низкой конторкой, перекладывая бумаги, горбился низенький господин в очках. Гриня несмело подошел к нему, кашлянул, и господин, не поднимая головы, скороговоркой выговорил:

- Вынужден разочаровать, свободных номеров в наличии не имеется.
- Да мне другое... – замялся Гриня, – мне номера не нужны...

Господин поднял голову. Лицо у него было сухонькое, птичье, как будто скукоженное, а маленькие, острые глазки смотрели цепко и умно. Кивнул:

- Понимаю. Кого разыскиваете?
- Мне вот... Здесь пропечатано...

Гриня расстегнул полушубок, высвободил из штанов подол рубахи, где на изнанке был пришит просторный карман. Из кармана вытащил газету, сложенную в осьмушку, развернул ее и положил на конторку, ткнул пальцем:

- Вот... Тут пропечатано...

Господин брезгливо сморщился, глядя на изжужельканый газетный лист, но изволил взглянуть на указанное объявление и даже вслух его прочитал:

– Коммивояжерам крупной московской компании требуются для постоянных разъездов на разные расстояния извозчики, трезвые и аккуратные. Оплата честная. Обращаться в меблированные номера Сигизмундова, в первой половине дня. Спросить Кулинича.

Прочитав, господин вздернул маленькую головку, цепко и быстро окинул Грину острым взглядом и вскинул сухонькую руку:

- По левой стороне четвертая дверь. Ступайте и обрящете.

Гриня пошел по коридору. Вот и четвертая дверь по левой стороне. Старая голубенькая краска давно отшелкнулась, железная ручка болтается на одном гвоздике. Он громко постучал, отчего железная ручка звякнула, а дверь сама собой распахнулась.

В большой и просторной комнате стоял посредине узкий и длинный стол, заставленный винными бутылками и тарелками со снедью, а за столом сидели двое мужчин и одна женщина, которая курила длинную папиросу и пускала в потолок ровненькие колечки дыма. Гриня в первый раз увидел, что баба курит папиросу, и от удивления даже замер, разглядывая во все глаза, как она это делает.

– Вас, молодой человек, папенька с маменькой разве не учили, что после стука нужно дожидаться разрешения, а уже после этого – входить? И обязательно здороваться. – Женщина стряхнула пепел прямо на стол и вздохнула: – Ну, рассказывай – какая нужда привела?

– Здравствуйте, – Гриня стащил с головы шапку и кивнул, как будто поклонился. – А дверь сама открылась, я и спросить не успел, извиняйте. А пришел... вот! Пропечатано тут...

– Пропечатано, говоришь... Тогда давай, почитаем, что там пропечатано. – Один из мужчин поднялся из-за стола, и оказалось, что он очень высокого роста, худой и поджарый; на узком, будто приплюснутом лице, тщательно выбритом до синевы, ярко светились черные, как затухающие угли, глаза.

Он взял газетный лист, мельком глянул на него и вернул Грине. Спросил:

– А ты не сообразил, что газета почти месячной давности? За это время уже и помереть можно, а ты на работу пришел наниматься!

– Да ладно, не придирайся к парню, – вмешался второй мужчина и тоже поднялся из-за стола; этот был поменьше ростом, пошире в плечах, с окладистой русой бородкой, смотрел весело и улыбался, – он и так смущается. Значит, денежек заработать решил?

– Если получится, чего же не поработать, – резонно ответил Гриня.

– Только учти, условия у нас строгие. Первое – трезвый, второе – исполнительный, а третье – куда сказали, туда и поехал, без вопросов и без разговоров. Согласен?

– А чего же не согласиться, – снова резонно, как ему казалось, ответил Гриня, – только знать бы хотелось – какая оплата будет?

– Будет, будет тебе оплата, достойная и честная, – крепыш похлопал Гриню по плечу и заглянул ему прямо в глаза, а показалось, что в самую душу. Неуютно, тревожно стало Грине под этим взглядом, и он подумал: «Ну, дед! И на какого лешего они тебе понадобились! Мутно здесь... И баба – архаровка! Сидит и курит! Ладно, потерплю, раз пообещался...»

А обещался Гриня, согласно наказу Матвея Петровича, выполнить следующее: разыскать людей, которые в газетке объявление печатали, наняться к ним на работу и все про них разузнать – кто такие, чем занимаются, о чем между собой разговоры разговаривают. Одним словом, все, что возможно, выведать. Гриня, услышав это, конечно, удивился, но дед цыкнул: «Сказано – делай! А время придет – расскажу, для чего эта надобность».

Вот и стоит он сейчас перед двумя мужиками и перед бабой, которая вторую папиросу прикуривает и в дыму вся, будто за спиной у нее дымокур развели, напихав в старое ведро сухих коровьих лепешек; стоит и представляется тухлой-матухой, который на все согласен, лишь бы его на работу наняли. Сам не зная почему, но Гриня решил, что нужен им именно такой извозчик – будто мешком из-за угла стукнутый.

И, кажется, не ошибся. Его еще порасспрашивали: какого коня имеет, какие сани, да бывал ли в дальних поездках, и, расспросив, велели утром, к десяти часам, быть возле номеров.

Гриня поклонился, задом упятился в двери, двинулся по узкому коридору к выходу, молча ругаясь: «А про оплату так и не сказали! Вот хитрованы! Может, вернуться, спросить? Ладно, завтра спрошу».

Вышел он из меблированных номеров Сигизмундова, огляделся, и захотелось ему прямо сейчас же, в сию минуту, оказаться дома.

Но дом находился далеко, и достигнуть его в столь краткий срок было невозможно.

7

Жизнь в Покровке тем временем текла спокойно, размеренно, без тревог и волнений. Только и событий случилось, что Варя несказанно удивила Анфису, прямо-таки сразила ее наповал, когда вечером подоила и обиходила коров; молоко процедила и разлила по кринкам и уже собиралась кормить остальную живность, когда вернулись хозяева, задержавшиеся до самых сумерек в доме младшего сына на дальнем конце Покровки, где сноха, удачно разродившись, одарила их очередным внуком.

Возбужденная, еще не отойдя от пережитого волнения – роды она сама принимала, – Анфиса сначала никак не могла понять: почему молоко в кринках, а чисто вымытый подойник стоит на своем законном месте? Озиралась по сторонам, будто в своей родной избе заблудилась, и даже не голосила, как обычно, а тихо, шепотом спрашивала:

– Оно как так случилось? Кто хозяйничал?

Когда выяснилось, что хозяйничала Варя, что она даже сена коровам дала, Анфиса охнула и села на лавку, глядя во все глаза на свою постоялицу, словно желала удостовериться – она это или не она?

Варя смеялась и говорила:

– Да я любую работу делать умею, меня папенька с маменькой всему научили!

И уже поздно вечером, после ужина, когда пили чай, Варя откровенно, впервые за все время проживания у Черепановых, стала рассказывать о себе. Раньше она ничего не рассказывала, а тут ее как прорвало. Анфиса, подперев щеку ладонью, сидела, необычно молчаливая, и только вздыхала, слушая историю чужой жизни, которая начиналась далеко-далеко отсюда, где-то в Расее, в большом подмосковном селе Вознесенском, где на пригорке, возвышаясь над пыльной площадью, стоял красивый храм Преображения Господня с тремя голубыми куполами.

Настоятелем этого храма был священник Александр Нагорный, отец Вари. Он служил службы, причащал, отпевал, крестил, венчал и дома бывал редко, урывками, а каждую свободную минуту отдавал хозяйству, потому что сам сеял и убирал хлеб, сам содержал скотину и только по осени нанимал работника на молотьбу и для того, чтобы тот зарубил гусей на зиму. «Не могу же я птице голову рубить и в крови мазаться, – говорил отец Александр, – мне на другой день, может, невинного младенца крестить придется». С тихой и безропотной матушкой Стефанидой они родили трех дочек и воспитывали их строго и в трудах. Весь огород и мелкая живность были на девочках – они поливали, пололи грядки, пасли и кормили гусей, а когда подросли, стали и за коровами ухаживать. Без дела никогда не сидели. Жили дружно, тихо, по-божески. Да только рухнула эта жизнь, будто домик из песка слеппенный, и осыпалась до самого основания. Сначала девочки заболели дифтерией, и как только родители над ними ни хлопотали, спасти не смогли – выжила лишь одна Варя. Дальше, как в горькой пословице: пришла беда, отворяй настежь ворота – заболел сам отец Александр, стал задыхаться, кашлять и за неполный год иссох, словно травяной стебель по осени. Незадолго до своей смерти, уже чувствуя, что скоро настанет последний час, он продиктовал матушке Стефаниде прошение, которое велел отправить в епархию. В прошении том изложена была нижайшая просьба к архиерею, чтобы не оставили без участия сироту Варвару Нагорную, когда она останется на этом свете без своего родителя, и чтобы определили ее в епархиальное училище. Просьбу отца Александра исполнили, и после его кончины Варя уехала в епархиальное училище, где отучилась положенный срок, получив звание домашней учительницы.

– А матушка-то жива? – дрогнувшим голосом спросила Анфиса, вытирая глаза кончиком платка.

– Теперь и матушки нет, – ответила ей Варя, – одна тетушка у меня осталась, сестра ее родная.

– Да в такую даль, да еще одна – как тебе не боязно было? – удивлялась Анфиса. – Жила бы там с тетушкой, все родная душа!

– Да чего уж бояться, – улыбнулась Варя, – люди везде одинаковые.

– Так-то оно так, да только... – подходящих слов Анфиса не нашла и снова принялась вытирать глаза кончиком платка.

Эта внезапная откровенность Вари, а главное – ее рассказ, так растрогали Анфису, что она еще долго вздыхала и никак не могла успокоиться, даже о родившемся внуке ничего больше не говорила.

Может быть, они долго бы еще сидели и чаевничали, но со двора пришел Василий Матвеевич и нарушил их задушевную уединенность. Да и время уже позднее было – спать пора.

Варя разобрала постель, погасила лампу в своей боковушке и долго стояла у окна. Там, за окном, ровный лунный свет стелился по высоким, причудливо изогнутым сугробам, и казалось, что во всем мире властвует только этот свет – зыбкий и никого не греющий.

А так хотелось согреться, так студено было на душе после своего откровения перед Анфисой, которое всколыхнуло в памяти прошедшие дни, ведь многие из них до краев были

наполнены неизбывной печалью и горем. Варя на ощупь нашла спички на столике, снова зажгла лампу и, накинув на плечи легкий платок, склонилась над чистой тетрадкой, выводя на ней красивым, почти каллиграфическим почерком слова, которые ей так захотелось сказать именно сейчас, что она не могла подождать до утра.

«Милый мой, любимый Владимир!

Сегодня, совершенно случайно и, казалось бы, без видимой причины, я поведала своей хозяйке о прошлой своей жизни, а теперь испытываю неодолимое желание поговорить с тобой, ведь родная душа всегда лучше поймет. Сама не знаю, почему меня захватило это странное чувство – рассказать о том, что пережила. Знаешь, в детстве, когда я была еще совсем маленькой, батюшка взял меня однажды с собой, когда шел на службу, и мы поднялись на колокольню нашего храма. Я глянула вниз, увидела безоглядный простор и даже ножками затопала от восторга. Дома, люди, деревья, лошади, телеги – все казалось таким маленьким, игрушечным. До сих пор ясно помню это ощущение сказочности. А когда повзрослела, мне стало казаться, что сказка случилась лишь однажды, в детстве, а все остальное время я нахожусь где-то внизу, такая крохотная, маленькая, что меня среди других и различить невозможно. И так было долго, до самой встречи с тобой. Встреча эта меня очень сильно изменила, будто я выросла и выпрямилась.

Да, именно так. Ты можешь, конечно, снисходительно улыбнуться, у тебя это получается очень мило, но снисходительность твоя абсолютно ничего не изменит, потому что я говорю правду. И за то, что я выпрямилась, я буду тебе всегда и бесконечно благодарна.

Если бы я, как теперь, не чувствовала себя большой и значимой, мне было бы очень трудно в деревне, в школе и с детьми. Я бы постоянно чего-то боялась, думала бы, что я ни на что не годна, и все бы у меня получалось плохо. Но, слава Богу, этого не произошло, и я все больше привыкаю к новой деревенской жизни и своему учительству.

И коль уж я написала про учительство, то непременно должна тебе рассказать о своих милых ребятках. Их у меня двадцать четыре ученика, в том числе восемь девочек. Последнее обстоятельство меня радует больше всего, потому что девочек в учение родители отдают неохотно, ведь дочери – помощницы и няньки в доме, и работы у них, несмотря на малый возраст, всегда много. А еще говорят так: «Незачем им учиться, научатся – так женихам письма писать станут! А это баловство». Но Матвей Петрович Черепанов, местный староста, у сына которого я на квартире проживаю, успокаивает меня и просит, чтобы я набралась терпения, потому что школы в деревне никогда не было, и людям нужно время, чтобы приглядеться.

Но я отвлеклась. Детки у меня чудные. Добрые, ласковые. А какие глаза у них, как они светятся! Мне порой кажется, что я живу с ними, как в одной большой семье, иначе бы они не доверяли мне свои секреты. Неделю назад, перед началом урока, пришли Ваня с Алешей, переглядываются между собой и на меня смотрят, будто что-то сказать хотят и не смеют. Я у них не спрашиваю, думаю, если захотят, сами скажут. Так оно и вышло. Ваня подошел ко мне, обнял за шею и шепчет в самое ухо:

– Я вам скажу, только вы никому не говорите. Шли мы вчера с Алексеем из школы, а у Кузьмы в бане окошко светится. Солнышко на него падает, оно и светится. Я и говорю Алексею, давай глызкой¹⁰ бросим – попадем или нет? Так охота нам стало стеклышко сломать. Алексей взял глызку, бросил и попал в самое стеклышко, оно и сломалось, а мы испугались и убежали. Только вы, ради Христа, никому не говорите!

И что мне оставалось делать? Решила все-таки не выдавать их секрет. Ведь если выдам, они мне больше никогда так откровенно ни о чем не расскажут. Пошли после уроков гулять, они мне баньку Кузьмы показали и стеклышко разбитое, а я все увещевала их, чтобы не

¹⁰ Глызка, глыза (сиб.) – замерзший кал животных.

бросали глыбы, камни и палки куда попало. Обещали, что никогда так больше делать не будут, и я им верю.

Наверное, все это для тебя покажется сущей мелочью, не стоящей внимания и тем более подробного описания, но для меня все очень важно, ведь моя жизнь теперь состоит из двадцати четырех жизней моих подопечных и я обязана все воспринимать очень серьезно. Иначе никак нельзя.

Недавно мы договорились с ребятами, чтобы они мне писали письма. Я их поощряю, чтобы они привыкали к письму. Сегодня получила письмо от Степы и хочу, чтобы ты тоже прочитал его, оно короткое, правда, с ошибками, которые приходится исправлять.

“Здравствуйте, дорогая моя учительница, Варвара Александровна! Извините, я карандашом написал, дома чернил нет. Очень я переживаю, что задачи не решаю. Научился бы я хорошо задачи решать – поставил бы пяташную свечку, Бога поблагодарил, а то не умею решать. Я молюсь каждый вечер, все прошу Бога научить меня, может, и научусь. Вот еще что я сказал бы вам, поди, не поглянется это: домой-то я пришел да Демку, младшего своего брата, хотел бить. Он за мной побежал, книгу просит, я не даю, он меня царапать начал по губе. Я заплакал, осердился, побежал бить его. Бабушка не дает, потом я его все-таки треснул, он залез на печку и ревет. Мне купили сапоги, давали 4 рубля. До свиданья!”

Вот такие мои дела и заботы, дорогой, любимый Владимир. Слышишь ли ты меня, доходят ли до тебя мои мысли, слова и молитвы? Мне так хочется верить, что ты меня слышишь!

Навеки твоя Варя».

Глава третья

1

Старуха сидела в каталке, накрытая толстым клетчатым пледом. На голове у нее криво был надет белый ночной чепец, сбившийся на самый затылок, и через реденькие седенькие волосы проглядывала желтоватая кожа. Лицо тоже отливало желтизной, словно было покрыто плесенью, которая выцвела от старости. Но голос, когда она закричала, оказался совсем не старческим – тонкий, визгливый, будто лаяла без удержу молодая и злобная собачонка. Гиацинтов даже отшагнул назад – не ожидал он такого приема.

А старуха, не давая ему рта раскрыть, взвизгивала:

– Вон! Вон из моего дома! Я даже слышать не желаю об этой паршивке! И вас не желаю видеть! Вон! Вон! Ничего не скажу! Уходите! Еще раз придете, в полицию пожалуюсь! Вон!

Сухонькая, сморщенная ручка выскользнула из-под пледа, и маленький кулачок взметнулся над головой; Гиацинтову даже показалось, что если бы старуха смогла до него дотянуться, она бы обязательно ударила. Он отшагнул еще на шаг, запнулся за какие-то тряпичные клубки, валявшиеся на полу, откинул их ногой в сторону и понял с отчаянием, что узнать от старухи ему ничего не удастся. Повернулся, пошел темным, длинным коридором, который был тесно забит узлами, узелками, старыми тряпками, рванными коробками, покрытыми толстым слоем пышной пыли. Все это добро валялось на полу, висело на стенах, а проход был столь узким, что Гиацинтов невольно задевал рухлядь, оставляя за собой серое удушливое облако. Выбравшись, наконец-то, на улицу, он долго чихал и никак не мог остановиться. Молча ругался: «Ведьма старая! Даже выслушать не пожелала! Где теперь Вареньку искать?!»

Присел на деревянную лавочку, устроенную под старой, высокой липой, достал платок из кармана, высморкался и с ненавистью посмотрел на большой деревянный дом с мезонином, откуда он только что ретировался. А шел ведь сюда с надеждой – вот распахнется дверь, а навстречу ему – она, Варенька... Но встретила его злобная, сумасшедшая старуха, и даже не верилось, что это Варина родная тетка.

«Верится, не верится, адрес-то точный. Что же теперь делать? – Гиацинтов поднялся с лавочки, оглядел тихий, безлюдный московский переулок и подбодрил самого себя: – Найдем! Человек не иголка!» Поглядел еще раз на дом с мезонином и пошел медленным шагом, направляясь в конец переулка, аккуратно обходя большие темные лужи, густо усеянные палым листом. Даже не верилось, что на дворе уже наступил декабрь, – зима в этом году в Москву не торопилась, и над улицами, переулками Первопрестольной властвовала промозглая сырость. Гиацинтов передернул плечами, поднял воротник пальто и в этот момент услышал сзади торопливые, шлепающие шаги. Оглянулся. Его догоняла, на ходу подвязывая теплый платок, низенькая, толстая баба, похожая на кубышку. Тяжело оскальзывалась и всякий раз взмахивала короткими руками, будто хотела оторваться от земли и взлететь.

– Барин, барин! – задышливо позвала баба. – погоди, барин! Не угнаться мне за тобой! Гиацинтов остановился.

Баба подбежала к нему, едва-едва перевела дух и выговорила:

– Слышала, про Вареньку спрашивать изволили, интерес имеете... Так я могу сказать, если любопытно...

– Где она? – Гиацинтов схватил бабу за плечи, встряхнул, но, вовремя опомнившись, опустил руки.

– Какой ты скорый, барин! Вынь да положи! – Баба подтянула потуже узел платка под толстым подбородком и неожиданно сообщила: – Я пирожные люблю, да и ликерчику бы отведать по такой погоде... Там, как выйдешь из нашего переулочка, за углом кофейня имеется...

– Пошли!

Скоро они уже сидели в кофейне, и хитрая баба, будто испытывая терпение Гиацинтова, не торопясь, с удовольствием, расправлялась с пирожными, не забывая опрокидывать рюмочку с ликером. Но вот, кажется, наелась. Потянулась в очередной раз к графинчику, но Гиацинтов ловко передвинул его на край стола:

– После допьешь. Говори, что знаешь.

– Ладно, барин, спасибо, потешил мою слабость. Люблю я пирожное, а с ликерчиком... Грешна, барин, грешна... Ты кто Варя-то? Кавалер? Да знаю, знаю, кто ты такой, не отнекивайся. Ну так слушай, кавалер. Варя не по своей воле с Москвы съехала. Тут такая катавасия была – пыль до потолка! Как кавалера ее, тебя, значит, на войну отправили, Варя и завяла, будто цветочек без полива. Придет в гости к Степаниде Григорьевне, тетке своей, как из училища отпустят, а глазки на мокром месте, исхудала – страсть. Ну а тут в газетке вычитали, что кавалера на войне убили, и задумала Степанида племянницу свою замуж выдать. А после и жених объявился. Сказывал, что вместе с кавалером Вариным воевали, и видел он своими глазами, как того желтоглазые подстрелили. Варя плачет-убивается, а они над ней как коршун с коршунихой кружат, силком под венец толкают. Все с нее требовали чего-то, от батюшки Вариного в наследство что-то осталось, вот они и требовали. А Варя стоит намертво – нет, не отдам! Батюшка мне, говорит, завещал, значит, мне и принадлежит. И какое там может быть наследство – мыши в амбаре зубами стукали! Затолкали бы они сиротку в замужество, как пить дать, затолкали бы, да только батюшка один, который раньше с отцом Вариным знакомство водил, быстренько все спроворил, посадил сердешную на поезд и отправил. Так скоро спроворил, что она попрощаться даже не появилась.

– Куда Варя уехала? Знаешь?

– Знала, сказала бы, – баба вздохнула, – она для меня как родная душа была. Я ведь у Степаниды давно служу, и кухарка у нее, и нянька, и поломойка. Одно хорошо, что теперь полы мыть не надо, она в последнее время, как с ума тронулась, заставляет меня все тряпки с улицы в дом тащить. И складывает их, и складывает – ногу поставить некуда. А злая, как собака цепная. Ну, злая-то всю жизнь была...

– Да черт с ней, твоей Степанидой! – не выдержал Гиацинтов. – Что еще про Варю знаешь?!

Баба подобрала ложечкой крошки пирожного с тарелки, ложечку старательно облила, повертела ее в толстых пальцах, разглядывая, и тихо, почти шепотом, спросила:

– А чего Варя в магазине купила, когда ты ее в первый раз на улице встретил?

– Бусы она купила своей подруге! Зачем ты это спрашиваешь?

– Да так, любопытства ради. Что ты думаешь – пирожных сунул, ликеру налил, и дура толстомясая перед тобой наизнанку вывернулась. Удостовериться мне до конца требуется, я ведь тебя только два раза издали видела, когда ты Варю к Степаниде привозил. Боюсь, не обмануться бы...

– Теперь удостоверилась?

– Вот теперь с легким сердцем; чую, что не обманулась. Держи...

Из пышного рукава кофты баба ловко вытащила почтовую карточку и положила ее на стол перед Гиацинтовым. Он схватил, прочитал: «Великий Сибирский рельсовый путь. Станция Никольск». Под надписью помещалась фотография вокзала с башенками и каких-то людей в форме, стоящих на перроне. Судя по мундирам, железнодорожных служащих. Перевернул: «Здравствуйте, моя родная тетушка, Степанида Григорьевна! Простите меня

великодушно, что уехала, не попрощавшись с Вами. Таким образом, к сожалению, сложились обстоятельства. Я получила хорошее место и буду теперь служить учительницей. Всех Вам благ и радостей, и пусть Вас Бог любит. Варя». Даты написано не было.

– Когда карточку получили?

– Да месяца два минуло. Я ведь грех на душу взяла, карточку эту не отдала, спрятала. Жених, у которого сватовство расстроилось, сильно ругался на Степаниду, все твердил, что надо искать Варю, хоть из-под земли ее достать. А скоро куда-то уехал, думаю, что на поиски отправился. Вот по этой причине я карточку и спрятала, будто знала, что ты появишься, из убиенного в живых восстанешь, как на Втором пришествии.

Баба чуть заметно улыбнулась, и Гиацинтов разглядел, что глаза у нее под толстыми припухлыми веками – умные и проницательные.

– Тебя как зовут?

– Пелагея, Пелагея Трифионовна. Ты шибко-то кошелек свой, барин, не растопыривай, заплатил за угощение, и славно. Я не из-за денег, из-за Вари тебе открылась. Спрячь кошелек, спрячь. А вот ликерчик поближе мне подвинь... Ох, грешна... И нечего тебе тут рассиживаться, ступай с Богом, а то зайдут знакомые да увидят нас, до Степаниды дойдет... Ступай, барин, ступай.

– Спасибо тебе, Пелагея Трифионовна. Должник я теперь твой.

– На том свете расплатишься... угольками!

Пелагея Трифионовна рассмеялась дробным смешком и налила себе полную рюмку ликера.

Гиацинтов, не оглядываясь, быстро вышел из кофейни и сразу же остановил извозчика, коротко бросив ему:

– На Страстную гони!

2

Почему-то именно в этот момент ему захотелось оказаться там, где он в первый раз увидел Варю. Казалось, что все было вчера, но, когда он остановил извозчика, выпрыгнул из пролетки и подошел к каменному Пушкину, ему показалось, что с памятного вечера прошла уже целая жизнь и он за эту жизнь успел так состариться, что испытывал сейчас лишь одно желание – закрыть глаза и жить только в прошлом.

Там, в прошлом, стоял сверкающий январь с легким, хрустящим морозцем, на календаре значился день святой Татианы, и московское студенчество, напористое и горластое, отмечало свой веселый, разгульный праздник. Отмечать его начинали, как всегда, на Моховой, где в студенческой церкви служили молебен и проводили в присутствии высокопоставленных гостей торжественный акт, а уж затем толпами и мелкими компаниями студенчество стекалось в «Эрмитаж», где запыхавшиеся официанты спешно эвакуировали из залов цветы в деревянных подставках, стеклянные вазы, фарфоровую посуду и прочее – буквально все, что можно было разломать или расколотить. Наступало безудержное, а порою казалось, что и безумное, студенческое гулянье. Лилось дешевое пиво и водка, потому что денег на благородное шампанское никогда не имелось, ораторы говорили речи, встав на столы, но их мало кто слушал, ведь у каждого были свои мысли и он желал их обнародовать громким криком. Шум стоял невообразимый. Нетрезвый и нестройный хор орал:

Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна!
Вся наша братия пьяна, вся пьяна, вся пьяна.
А кто виноват? Разве мы?
Нет! Татьяна!

Покинув «Эрмитаж», как поле боя, господа студенты устремлялись к Тверской заставе – в рестораны «Яр» и «Стрельна», где обычная публика в этот день не появлялась и где также, как в «Эрмитаже», спасали, будто перед татарским нашествием, все ценное.

Гиацинтов с компанией своих однокурсников оказался почему-то у памятника Пушкину, где подвернулся им городской, у которого на груди, поверх шинели, щедро были развешаны Георгиевские кресты и медали.

– Качать русского воина! Ура!

– Господа студенты! Не буйствуйте! Никак невозможно, я при исполнении!

Ничего не слышат, да и слушать не желают господа студенты. Городовой, прижимая одной рукой шашку к животу, а другой рукой уцепившись за кобуру с револьвером, взлетал над студенческой толпой и успевал лишь вскрикивать о том, что находится при исполнении.

Наконец городского опустили на землю. Установили на ноги, гаркнули ему хором троекратное «ура» и решили двигаться пешком к Тверской заставе. Двинулись с криками и с песнями. И надо же было замешкаться на мостовой одинокой девушке с маленьким полотняным мешочком в руке. Вместо того чтобы развернуться и убежать, она замерла перед орущей, пьяной толпой и прижала мешочек к груди, будто желала им защититься.

– Да здравствует красота и молодость!

– Я встретил вас, и жизнь пропала!

– Прошу коленопреклоненно всего один лишь милый взор!

И в этот миг, оказавшись ближе других к девушке, Гиацинтов увидел ее глаза – огромные, голубые. В них плескался ужас, будто внезапно возникло перед девушкой неведомое чудище. Гиацинтов знал по опыту, что однокурсники его, пусть и пьяные, ничего плохого девушке не сделают, покричат-погорланят и дальше пойдут, но этот ужас в голубых глазах так пронзил его, что он раскинул руки, закрыв собой девушку, и крикнул:

– Молчать и не приближаться! Эта особа находится под моим личным покровительством!

Студенты, продолжая дурачиться, замолчали разом, послушно и стыдливо опустили головы, словно провинившиеся приголовишки¹¹, и тихим степенным шагом, как в похоронной процессии, прошли мимо. Прошли и взорвались общим оглушительным хохотом, довольные до чрезвычайности своей импровизированной шуткой.

Гиацинтов, не опуская раскинутых рук, продолжал стоять перед девушкой, видел ее глаза, в которых, еще не исчезнув, продолжал плескаться ужас, видел, что из-под теплого платка выбились кудряшки, а красивые, плавно очерченные губы обиженно вздрагивают, словно она собирается заплакать от пережитого страха.

– Вы не пугайтесь, они же пошутили, день сегодня такой, – принялся успокаивать Гиацинтов, – сегодня студентов даже полиция не забирает. А вы так испугались, будто на вас разбойники напали.

– Я пьяных боюсь, – призналась девушка мягким, вздрогнувшим голосом, – как увижу, душа в пятки уходит, а я сама не своя, даже шага ступить не могу... А вам – спасибо.

И она поклонилась, оторвав, наконец-то, от груди полотняный мешочек. Гиацинтов опустил руки и в ответ тоже учтиво поклонился, совершенно не понимая, что с ним происходит: ему не хотелось догонять своих товарищей, которые, уходя все дальше, продолжали кричать и звать его, не хотелось участвовать в общем разгульном веселье, не хотелось даже просто идти куда-то – вот так бы стоял, и стоял, и смотрел бы, смотрел на девушку, которая только что благодарно поклонилась. Но запас красноречия еще не изменил ему, и он, не двигаясь с места, вытянулся, руки по швам, и представился:

¹¹ Приголовишки – ученики приготовительных классов.

– Студент славного Московского университета Владимир Гиацинтов. Так всем и рассказывайте – кто вас спас, обязательно называя мою цветочную фамилию. А я могу знать – кого именно спас?

Девушка несмело, смущаясь, улыбнулась и уже спокойным, не вздрагивающим голосом, сказала:

– Варвара Нагорная.

– Тогда слушайте меня, Варя, очень внимательно. Во избежание неприятностей и учитывая, что господа студенты нынче непредсказуемы, я просто обязан вас сопровождать. Разрешите это сделать?

– Наверное, не разрешу, – серьезно, перестав улыбаться, ответила Варя и покачала головой, отчего кудряшки на чистом лбу весело качнулись, – я ведь все правила сегодня нарушила, а если вы меня и провожать еще будете – вот тогда уж неприятностей мне точно не избежать.

– Да какие же вы правила нарушили? – искренне удивился Гиацинтов.

– Видите ли, Владимир, я в епархиальном училище учусь, а правила там у нас очень строгие, меня отпустили, потому что тетушка заболела, и я должна вовремя вернуться. А если кто-то увидит, что я шла с мужчиной, вот тогда и случится настоящая неприятность, могут из училища удалить.

– Наслышан был о ваших правилах, но даже не предполагал, что они столь суровые. Кстати, где ваше училище находится?

– На Большой Ордынке.

– Далековато, – снова удивился Гиацинтов, – далековато ваша тетушка от училища живет. Где же она живет, здесь, на Тверской?

– Да нет, не на Тверской, она в Замоскворечье... Я сегодня, признаюсь вам, все, что только можно, нарушила...

И Варя просто, откровенно рассказала о том, что подруга упростила ее заехать в магазин на Тверской, где они месяц назад вместе были и где подруга высмотрела себе бусы... Упростила заехать и купить эти самые бусы. И накопленные деньги выдала. Варя от тетушки поехала сразу в магазин, бусы нашла, а вот когда стала расплачиваться, тут и случился конфуз: денег едва-едва хватило, да и то лишь потому, что приказчик на недостачу нескольких копеек махнул рукой. Вот и вышла Варя из магазина с бусами, но совершенно без денег. А так как извозчика нанять было нельзя, она отправилась пешком. И теперь очень торопится, боясь опоздать, и ей совсем не следует стоять так долго и рассказывать о своих приключениях, да тем более молодому мужчине...

Гиацинтов даже не замечал, что, слушая Варю, он широко и радостно улыбается, словно она сообщала ему очень приятные известия. Никогда не терпевший надутости жеманства в женщинах, он был просто-напросто очарован простотой и откровенностью Вари: она говорила очень серьезно и в то же время была так доверчива, будто давным-давно его знала и была твердо убеждена, что этот человек никогда не обидит и ему можно рассказать обо всем – он поймет. Внезапно она оборвала свой рассказ, замолчала, а затем тихо спросила:

– Почему вы улыбаетесь? Я что-то смешное вам говорю?

– Нет-нет, – поспешно ответил Гиацинтов, – у меня просто настроение сегодня такое... праздничное, Татьянин день все-таки... А пешком вы дальше никуда не пойдете, я сейчас возьму извозчика, мы поедем к вашему епархиальному училищу и успеем вовремя, дабы из этого училища вас не удалили.

– Я так не могу! – запротестовала Варя.

– Вы не можете, а я могу. Стоять здесь и не шевелиться, – Гиацинтов отбежал в сторону, взмахнул рукой, подзывая извозчика, и, когда тот подъехал, мигом усадил Варю, не давая ей опомниться, и приказал:

– Трогай, братец. – Обернулся к Варе и, опережая, чтобы не успела она что-то возразить, спросил: – А бусы красивые? Стоило из-за них столько хлопот иметь?

Варя потупилась, вздохнула и тихо ответила:

– Бусы красивые. Только носить их у нас все равно нельзя – нарушение правил. Могут и наказать примерно. Господи, что же за день-то сегодня такой!

Да, день был необычный – Татьянин день.

3

Гиацинтов поднял воротник пальто, отвернулся от резкого, промозглого ветра, который набирал силу, и, на прощание еще раз взглянув на каменного Пушкина, пошел по Тверской. Сколько было мечтаний, сколько раз представлялась ему во время долгих скитаний эта картина: вот идет он по Тверской, а рядом – Варя. И почему-то всегда представлялось еще, что в Елисеевском магазине купит он свежей клубники и будет угощать свою милую, бесконечно любимую спутницу, будет брать по одной ягодке и подносить ей к самым губам... А день должен стоять солнечный, летний или, наоборот, зимний – с мягким и тихим снегом...

Ничего не сбылось! И Вари рядом нет, и погода мерзкая, и Тверская, потемневшая от холодной мокряди, кажется серой и неуютной, как заброшенный дом, в котором давно никто не живет.

А самое главное – он, Владимир Гиацинтов, всегда уверенный в себе и никогда не терявший присутствия духа, ослабел, будто его разом покинули силы, растерялся, и даже шаг его, упругий и быстрый, переменился – слышал, как подошвы ботинок старчески шаркают по мостовой.

Он остановился возле фонарного столба, усеянного мелкой водяной пылью, прислонился к нему плечом и закрыл глаза, надеясь, что вспомнится и увидится ему лицо Вари: красиво очерченные губы, всегда строгие глаза, наполненные небесным, голубым светом, кудряшки на чистом высоком лбу... Но как ни напрягал память, ему ничего не вспомнилось и не увиделось.

– Эй, господин хороший! По какой надобности со столбом обнимаемся?

Гиацинтов вскинулся, распахнул глаза – перед ним стоял высокий тучный городской с пышными усами, и голос у него звучал под стать внушительной фигуре – громко и раскатисто.

– А не с кем больше, братец, обниматься! С тобой же нельзя, по уставу не положено...

Городовой шутку оценил, хмыкнул в пышные усы и посоветовал:

– Вы бы, господин, в другом месте штучки свои проделывали, где не таклюдно. А здесь – непорядок, столб не для того предназначен, чтобы с ним обниматься.

– Понял – столб предназначен для фонаря, а не для меня! – гаркнул неожиданно Гиацинтов, вытянувшись в струнку перед городovým. – Разрешите следовать дальше?

– Ступай, господин хороший, ступай, – разрешил городской и проводил его внимательным, цепким взглядом.

Получив разрешение, Гиацинтов не стал задерживаться. Дальше двинулся обычным своим шагом – упругим и стремительным. Неожиданная встреча с городovým будто встряхнула его – следа не осталось от короткой и нечаянной слабости.

Он шел быстрой походкой и думал о том, что жизнь его после возвращения на родину начинается с неожиданных сюрпризов. Первый сюрприз – это, конечно, поручик Речицкий, который, как оказалось, абсолютно ни в чем не виноват. Трудно было Гиацинтову смириться с этим обстоятельством, но он переборол самого себя: купил огромную охапку роз в цветочном магазине и вместе с Речицким, никуда его от себя не отпуская, явился к его супруге и повинился – ваш муж не заслуживает тех слов, которые я написал. Юное создание под-

прыгнуло от радости, восхитилось розами и даже поцеловало Гиацинтова в щеку. Речицкий все воспринял как должное, был спокоен и немногословен, сообщив, что в Москву он сможет приехать лишь после того, как закончит свои дела по службе в Скобелевском комитете. Попросил это передать Абросимову и заверить командира полка, что он обязательно приедет.

Вот об этом и собирался сейчас сообщить Гиацинтов своему командиру, а заодно и предстать перед ним: вот я, живой и здоровый...

В скором времени он уже читал на медной, до блеска надраенной табличке: «Полковник в отставке Абросимов Евгений Саввич». Дверь ему открыла миленькая, совсем еще молоденькая горничная в идеально белом, накрахмаленном переднике, спросила, кто он такой, и, услышав ответ, сразу же обернулась, позвала:

– Евгений Саввич! Пожаловали! Встречайте!

Ясно было, что Гиацинтова здесь ждали. Из глубины квартиры – громкие, торопливые шаги. И вот уже Абросимов, в парадном мундире, при всех наградах, остановился перед Гиацинтовым, быстро его разглядывая, а затем порывисто обнял, притянул к себе и троекратно расцеловал. Отстранился, еще раз окинул взглядом и снова обнял, дрогнувшим голосом сказал лишь одно слово:

– Живой...

И дальше, принимая от него мокрое пальто, передавая его горничной, продолжал повторять только это слово:

– Живой, живой...

Будто крутнулось время назад, и он встретил Гиацинтова, удивляясь и радуясь, что видит его живым, не в своей московской квартире, а возле входа в штабную палатку, которая установлена была на краю китайской деревушки.

В просторной комнате с высокими окнами был накрыт стол, и Абросимов, усадив гостя, сам разлил вино по бокалам и, поднявшись, одернул мундир; круглое широкое лицо, излучавшее добродушие и радость, переменилось: залегла над переносицей глубокая складка, обозначились желваки, и темные глаза из-под лохматых бровей сурово блеснули.

– Владимир Игнатьевич, простите за высокопарность, давно у меня не было такого светлого и радостного дня... Я так рад... Я ведь все это время... Впрочем, это отдельный и долгий разговор, и мы еще поговорим. А теперь – за встречу!

После обеда они прошли в кабинет, и там, придвинув ему пепельницу и коробку с сигарами, Абросимов потребовал:

– Рассказывайте, Владимир Игнатьевич. Все рассказывайте. С самого начала и до сегодняшнего дня.

– Москвина-Волгина здесь нет, – улыбнулся Гиацинтов, – значит, героем авантюрного романа мне не бывать, и поэтому можно говорить правду. Докладываю, господин полковник... Уснул я в штабной палатке, даже не помню, как уснул, помню только – взрыв, вспышка и – провал. Вроде бы очнусь, и опять провал. Окончательно в себя пришел, когда меня Федор нашел, тунгус, нижний чин из моей команды. Вдвоем мы и выжили. На третий день встал на ноги, огляделся – плен. Бежать никакой возможности, все время голова кружилась. Вскоре нас переправили в Японию. Вот оттуда, через три месяца, мы все-таки с Федором сбежали. В порту стоял английский торговый пароход под разгрузкой, джентльмены японцев поддерживали и снабжали, это я своими глазами видел. Одежду мы с Федором заранее припасли и под видом грузчиков попали на пароход. Спрятались, дождались отплытия, а когда я уже понял, что в океан вышли, тогда явились с повинной. Отнеслись к нам довольно холодно, но бить не били и за борт не выкинули. Они, эти благородные джентльмены, поступили согласно высоким принципам демократии: каждый человек имеет право на жизнь. Когда дошли до Гавайских островов, они нас продали, как рабочих скотин, местным бандитам. Занятие у нас было милое и сладкое – рубить тростник на сахарных плантациях. Больше года мы там про-

были, а потом снова сбежали, старым способом – на корабле. Но в этот раз уже умнее были – прятались до последнего, до тех пор, пока в Германию не пришли. А там, в порту, наши корабли стояли. Правда, и здесь пришлось в трюме отсиживаться, но все-таки добрались. Сначала до Петербурга, а нынче и до Москвы. Теперь осталось только заявить по властям и службам, что я живой, и получить какой-никакой документ, а то ведь я до сегодняшнего дня, как босьяк, никакой бумажки за душой не имею.

– Понимаю. – Абросимов поднялся, заложил руки за спину и принялся прохаживаться по кабинету, говорил, словно рассуждал сам с собой: – Понимаю, что подробности своих злоключений вы опустили. Понимаю также, что первым делом бросились разыскивать Речицкого, которого считали главным виновником этих злоключений, и даже вызвали его на дуэль. Хорошо, что ваш друг, Москвин-Волгин, оказался проворным и успел мне сообщить об этой дуэли, иначе пришлось бы кого-то отпевать... Я все понимаю, Владимир Игнатьевич, но скажу сразу и определенно – энергию и чувство мести нужно всегда направлять по точному адресу. Выверенному и точному!

– Может, вы назовете мне этот адрес, господин полковник?

– Не торопитесь. Когда должен приехать Речицкий?

– Он сказал, что ему нужно еще два дня, чтобы завершить дела по службе и получить отпуск. А Москвин-Волгин приехал вместе со мной, но у него назначены встречи, и договорились, что соберемся у вас к вечеру...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.